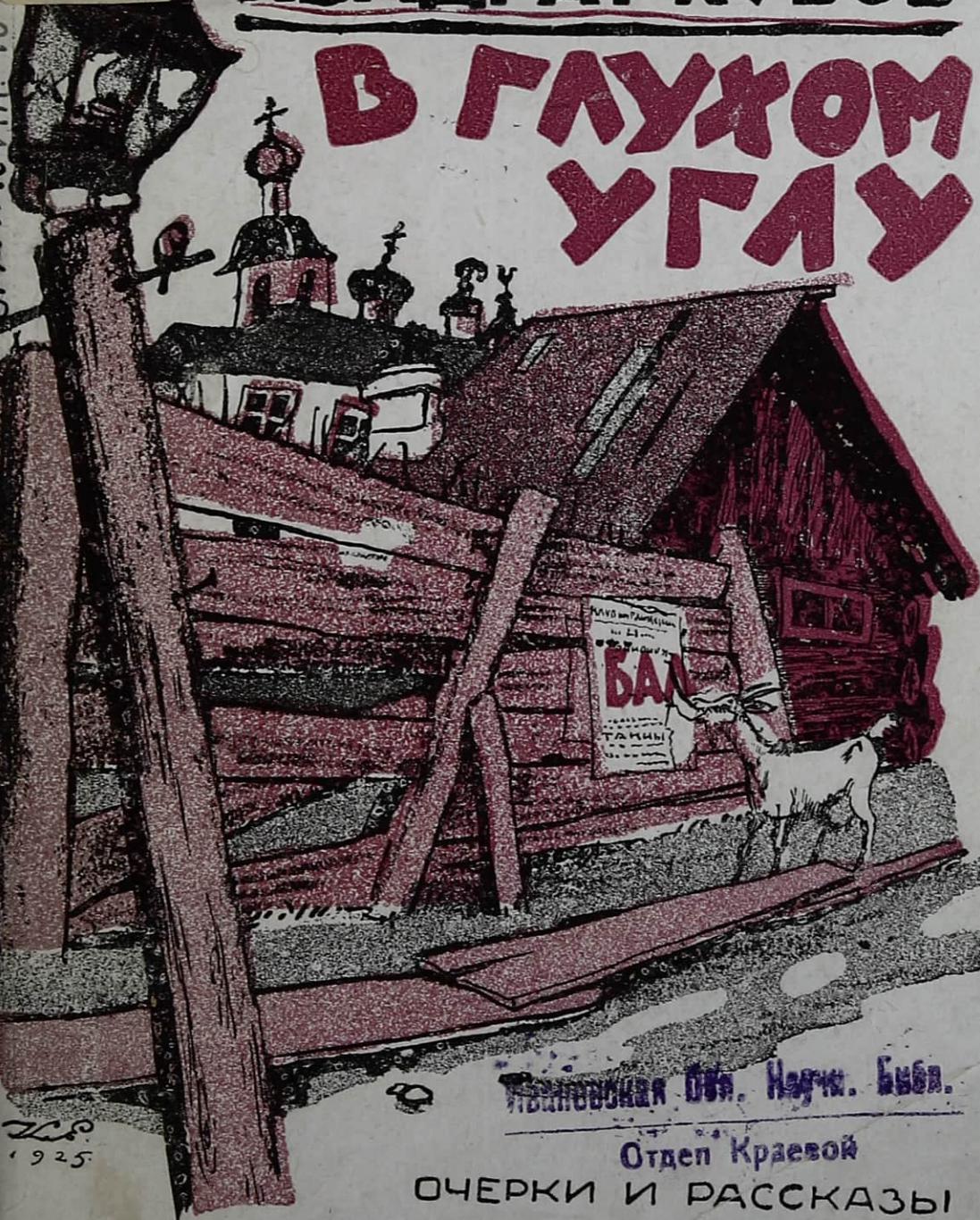


191
4241к

КВАДРАТ КУБОВ

В ГЛУХОМ УГЛУ

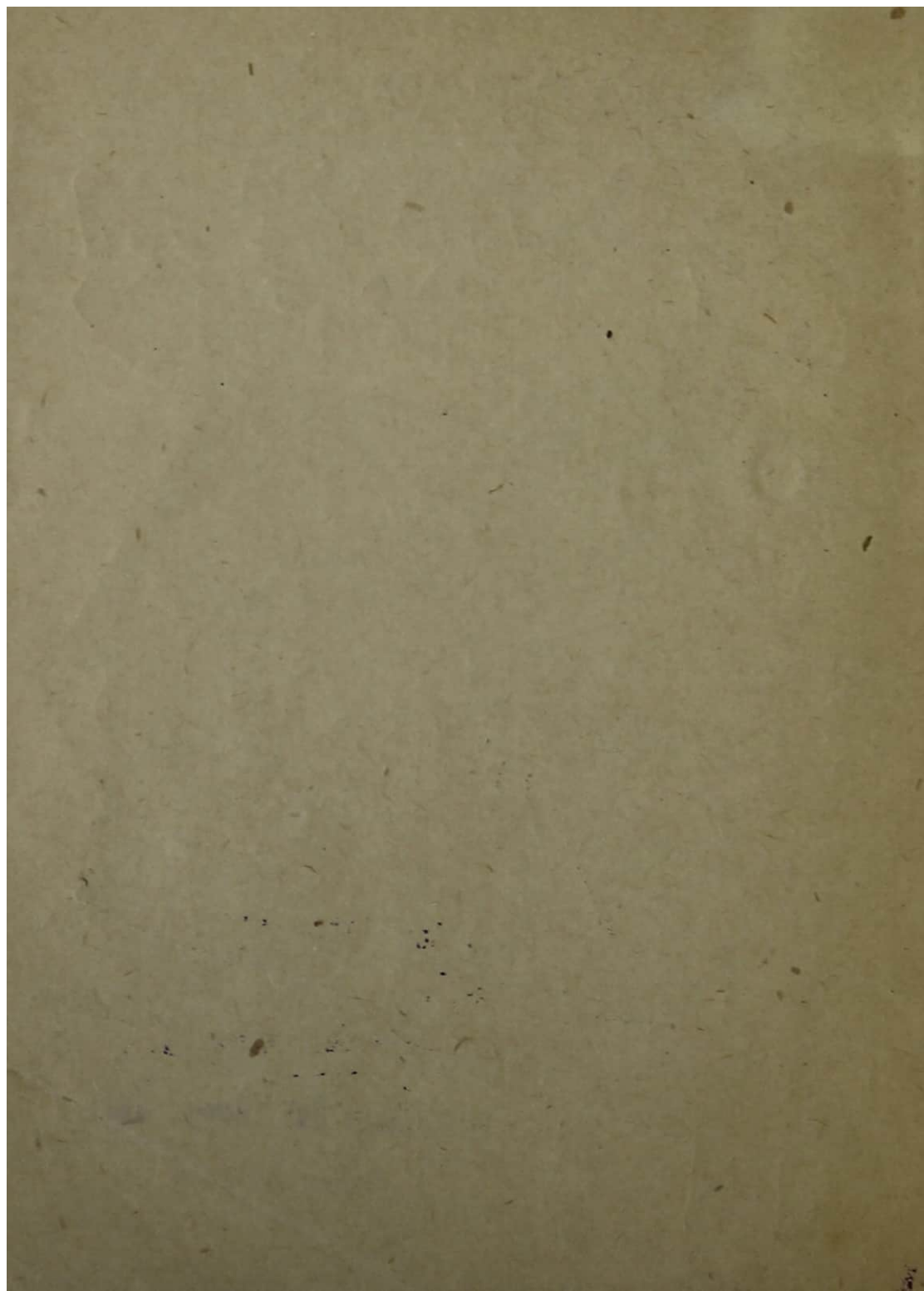


1925

Полтавская обл. Науч. Библ.

Отдел Краевой

ОЧЕРКИ И РАССКАЗЫ



КВАДРАТ КУБОВ

Ив. Майоров.

В ГЛУХОМ УГЛУ

РАССКАЗЫ
ОЧЕРКИ

Ивановская Обл. Научн. Библ.

Отдел Краевой

Иваново-Вознесенск
1925

94
-- 2010

КВАДРАТ КАРБО

№ 1. Москва

В ПУХОМ УЛУ

Отпечатано в количестве 1500 экзempl.
в типо-литографии „Красный Октябрь“
Из-ва „ОСНОВА“ Ив.-Воз. Гублит. № 34.

РАССКАЗЫ
О ПЕРКН

Издательство „Красный Октябрь“

Отдел Красной

Издательство „Красный Октябрь“

Недостаток механизма.

(С натуры)

I. Недостаток механизма

Мужики прождали с вечера, чтобы в скором времени выдаться с неприятной необходимостью. На площади перед складами, где приемный пункт, больше сотни телен. Кое-где дымят костры из разломанного по случаю сабора.

Меж телегами снуют городские ребяташки, подбирают объедки сена. Приезд мужиков настоящий праздник для кур. Они сбегались со всех улиц, на складных оловянных дощечках. Над телегами тушь вербей.

Мужики молчаливо утробы. За ибуль устала, охнула. Вынужденной безделье тучи ку?

— Скорее-ли они так?— раздался криком нетерпеливый дядя с солохой в черной березе.

— Чу, гари срочали.

До двора склада, голышики. Под деревянным изгородом привалялись ребята собрались около бодьшик итоса. Все глыбочина.

И. Недостаток МЕННАХУМ ЯОТЯТРОДЭН .I

Недостаток механизма.

(С натуры).

Осеннее утро.

Природа солидарна с мужиками, которые привезли продналог. Мужики мрачны, небо в тучах, моросит мелкий дождь.

Мужики приехали с вечера, чтобы поскорее разделаться с неприятной повинностью. На площади перед складами, где приемный пункт, больше сотни телег. Кое-где дымят костры из разломанного по соседству забора.

Меж телегами снуют городские ребяташки, подбирают объедки сена. Приезд мужиков настоящий праздник для кур. Они сбежались со всех улиц, наслаждаясь овсом лошадей. Над телегами тучи воробьев.

Мужики молчаливо-угрюмы. За ночь устали, озябли. Вынужденное безделье тягостно.

— Скоро-ли они там?—раздраженно кричит нетерпеливый дядя с соломой в черной бороде.

— Чу, гири пропали.

Во дворе склада волнение. Под деревянным навесом приемщики налога собрались около больших весов. Все озабочены.

— Как же быть?
— В кооперативе десятичные взять.
— Ванька бегал, не дают. Выдача у них.
— А ежели вывесить?
— Как это вывесить?
— А так что железину какую вместо гири?
— М-мм... да. А где ты возьмешь ее, эту самую железину?

— Поищем...

Расходятся в разные стороны. Через десять минут все опять под навесом.

— Нету?

— Вот кирпич.

— Кабы пяточек кирпичиков.

— Хы, ноне кирпич на дороге не валяется. Ценная штука.

— Эй вы, грабители, скоро ли?—доносится рев мужиков.

— Петр Сергеич, пора бы. Сердится народ.

— Да как же мы с такими гирями? Мало ведь!

— А ежели человека вывесить, Петр Сергеич?

— Человека? М-мм... да. Мужики не поверят. Обман, скажут.

— Мы при свидетелях...

— Оно, конечно... Только неловко. Агитация против власти.

— А дуй ее горой, власть то эту. Даже кирпичей не стало с вашей властью.

— Н-ну, ну. Не очень. Это недостаток механизма, причем тут власть?

— Будем что ли вывешивать? Время идет.

— А, может, Ванька разыщет гири?

— А ежели не разыщет?

Телеги на площади вытянулись лентой. Мужики ожили. К общему удовольствию с гирями уладилось, налог принимают. Работа кипит. Под навесом слышится:

— В Егоре то сколько,—Петр Сергеич?

— Три двадцать пять.

— Та-ак. Значит, у этого дяди два пуда с Егором... Егор слезай... это будет пять двадцать пять. Следующий.

— Егор залезай. Тут, значит, Егор с пудом, лом с топором и пять фунтов. Это сколько же будет?

— Это будет... это... будет... значит, три двадцать пять, да пуд.. да пять фунтов с топором... постой, не так. Значит, четыре двадцать пять, четыре тридцать... ага, пиши... постой, топор не считал... значит, четыре тридцать, да шесть. Пиши четыре тридцать шесть с ломом.

— Как это с ломом? Куды я лом припишу?

— Ах, да! Про лом я позабыл! В ломе то сколько, Петр Сергеич?

— Восьнадцать.

— Ну, вот. Значит, четыре тридцать шесть, да восьнадцать... Следующий. Егор, залезай...

— Погоди маленько, он на колодец пошел.

— Чего стали!—кричат мужики с досадой.

— Не ори, поспеешь. Гирия пить ушла.

Канцелярское.

Жарко, скучно, мухи. „Просят не курить“.
„Кончил дело, уходи“. „Без дела не входить“. „Вре-
мя—деньги“.

Машинистка воюет с солнцем. Оно уперлось прямо в затылок. Подвинула столик с машинкой вправо—солнце уперлось в левую щеку. Подвинула столик влево—жарко спине. Выехала на середину комнаты — секретарь вопросительно-брезгливо поднял брови. Поехала назад, приехала на прежнее место, горестно вздохнула и полезла на подоконник с газетой в руках. Приколола вместо занавески. Слезла. Один уголок газеты оторвался и бесстыжее солнце опять в затылок. Снова полезла...

Исходящая украдкой, под столом в коленях, вяжет чулок. Клубок ниток упал и покатился под ноги бухгалтера. Входящая спасла утопающую в чернильнице муху. Муха'волоча мокрые крылья, поползла по журналу. Очень интересно следить за мухой. Загадала: полетит муха, Петя любит. А вдруг не полетит? Ах!

— Иду мимо, дай, думаю, зайду,—басит счетовод в сторону делопроизводителя.—Зашел и вижу: битком набито. Как быть? А Федр Федрыч манит пальцем, вот так—присаживайся к нам, мол. В семь присел, а в час ночи встали. И сколько, ты думаешь, выпили?

— Дюжину?—соображает делопроизводитель.

— Два ведра и шесть бутылок на троих!—объявляет счетовод торжественно—Вот погоди...

Идет к столу делопроизводителя.

— Посмотри брюхо.

Собеседник смотрит.

— Вспучило?—спрашивает счетовод.—Похлопай ладошей...

— Послушайте, нельзя ли потише,—сердится секретарь.

Он не в духе, лицо измучено, глаза красные и торопливо скрипит пером на большем листе:

...,кроме того, меня возмущает вечный обман.

Я до пяти часов утра сидел в крапиве напротив вашего дома и видел, как ты провожала из калитки эту рябую рожу. Дело твое, конечно, но я не позволю издеваться над моими святыми чувствами. Поэтому на основании всего вышеизложенного говорю прямо. Либо я, либо он, а так больше не допущу и требую категорического ответа“...

Шурша юбкой, в комнату входит барышня и направляется в угол, где в тени несгораемого ящика дремлет плешивый кассир. Разговор вполголоса.

— Пожалуйста, Илья Захарыч.

— Право, не могу. Заказов сильно много.

— Голубчик, уважьте.

— Вам когда надо?

— К Петрову дню.

— Не поспею...

— Илья Захарыч!

— Ну, хорошо. Снимите туфельку с правой. Вот на этот стул, здесь не видно.

Кассир одевает очки на нос, длинными ножницами вырезает из „Правды“ узкую полоску и, наклонясь к ножке барышни, спрашивает:

— А подметки купили?

Часы за окнами, на колокольне, бьют два,

Мытилка.

Отдел Местного Хозяйства доводит до сведения граждан, что с 19 марта на левом берегу реки «Уводи» близ Дербеневского моста открывается для бесплатного пользования граждан мытилка. Отдел Местного Хозяйства обращается с просьбой ко всем гражданам о принятии мер не допущения расхищения таковой.

Из объявления О. М. Х.

Заманчивое объявление:

„Пропала мытилка, нашедшему будет дано щедрое вознаграждение в дензнаках 23 года“.

Правда, мытилка не коза. Разыскать мытилку не так легко, как пропавшую козу, про которую тоже объявляют порой в списке утерянных вещей. Искусный вор сунет мытилку в карман и нет мытилки. Но такова уж моя натура: чем труднее задача, тем ожесточеннее бьюсь над ней, пока не решу. И потом, сознаюсь, дензнаки,—обещанные щедрые дензнаки 23-го года! Кто равнодушен к дензнакам 23-го года? По дороге из города шла в деревню баба с базара. Увидел бабу дядя гулящий и зарезал. Причина; баба

нёсла пустую четверть из под молока, за которое— ясно—получила на базаре дензнаками 23-го года. Другой пример. Гуляющий мальчишка из кармана коммерческой личности—тоже на базаре—извлек один рубль дензнаками 23-го года. Коммерческая личность обнаружила конфискацию и ударами кулака привела мальчишку в бессознательное состояние. А зрители смотрели, скрежетали зубами и приговаривали: не воруй, не воруй, не воруй! Ясно: дензак не мытилка, дензнаком не шути, мой собственный дензнак стащить это не бабу зарезать, не трест об'егорить.... словом, я устремился искать пропавшую мытилку.

— — —
Была мытилка и нет мытилки.

—Товарищ, не видали мытилки?—обратился я к озабоченному гражданину, который торопливо шел улицей, сгибаясь под тяжестью швейной машинки.

Прохожий дико вскрикнул, бросил швейную машинку и пустился бежать. По совести, я вытаращил глаза от изумления. Оглядел машинку. Новая, хорошая. К ручке привязана бумажка: „Завед. складом № 2, предлагаю отпустить во временное пользование (имя-рек) ручную швейную машинку“.

— — —
Где-же мытилка?—думал я, с трудом таща швейную тяжелую машинку. Мои усталые глаза с надеждой остановились на озабоченном гражданине, который деловито орудовал молотком, долотом, отверткой, ломом, топором у окон необитаемого каменного особняка среди многолюдной улицы. Рядом дремала лошадь. В санях навалены оконные рамы, двери, половые доски, изразец, отдушники, печные дверцы...

—А мытилки не видали случайно?—спросил я трудолюбивого гражданина.

Он сконфузился на манер барышни, бросил лом и пролепетал:

—Иду мимо, гляжу дом валяется. Думаю, зачем добро пропадать... а, впрочем, до свидания.

Круто повернулся и оставил на мое попечение лошадь, сани, лом, топор, оконные рамы, двери и прочая и прочая.

Поздно вечером десять подвод, нагруженных разным добром, остановились у дверей Укомхоза. Погруженный в мечты о дензнаках 23-го года я брел позади. Плакали дензнаки! Я привез мануфактуры, гвоздей, муки, посуды, мебели, вина, сластей, бумаги, красок фабричных, партию обуви, но мытилка... увы, мытилку я не нашел. Мытилка исчезла бесследно. Товарищи и граждане, мужчины, женщины, милые, хорошие, пожалейте меня и скажите, где пропавшая мытилка. Иначе сотни, тысячи подвод запрудят улицы нашего прекрасного города, замрет жизнь, остановятся фабрики, заводы, встанет железная дорога и нечего будет делать рестораторам и трактирщикам.

Жареные семечки.

— А вот жареные семечки!

— Эй, малец... Даша, Соня, Анна Федоровна... господа, возьмем жареных? Дмитрий Дмитрич, подставляйте карман.. Гриша в оба кармана... у тебя, мальчик, хорошие?... тпру, тпру, тьфур... точно крупные... тфырф, фурф, фурф... дай еще два... фырьт, пфырьт, прру... стакана. Господа запасайтесь...

— Фрыфть, фрыфть, тпру, прру... достаточно... пруфть.

— Чупфырь, фыр, фыр... значит, прю, тпру.. пошли?

— Куда теперь?.. пфть... пыфф... фыйть...

— Куда... пфырф, фырф, тюфр... нибудь. Даша .. тьфыйррь, фрр, фырр... кто это тебе поклонился?

— Сослуживец... чырьпф, чрыфп, хруп... мы с ним в одной школе... фтры, пыф, тфу... учительствуем... фрусь, хрусь, пфырр...

— Фырр, фырр...

— Пырф, пырф...

— Тфурф, тюфырр...

— К вечерне... фыйр, фрыйф... ударили.

— Да... ырф, фырф... ударили.. часа три... хрры, ррывт, пррр... уж гуляем... чуфр, труфи, пуф..

— Господа... тпру, прюф... посидим на бульваре?...
пыррь, тыррь, фыррь...

— Что-ж... пуйвр... фурф... все... пуфф... равно...
делать нечего... пыфввр.. ффф...

— Ввт здесь... фырф, ырф...

— Отлично... фрры, фрры...

— Соня, вы... терф... пурьф, пррь... обещали
вчера... пыррь, чуффырь, фырь... встретиться в театре...
пырф, ырф... а не пришли...

— Я занята... фру, прру.. пррь... была... ужасно
много дела... прю, тьпру...

— К зачетам готовитесь?... пфыф, пыф...

— Нет, вчера... прю, тпру... мы... трюф... свиной
мыли.. юрьф, тюрф... у нас... фыр... три штуки...
прю, хру, хруп...

— Фыррь, пыррь... фырп...

— Пфы, тьфру, прыйфть...

— Чыр-рь, тфырь

Орехи.

— Щолк!

— Дяденька, подайте на пропитание!...

— Щолк... Бог подаст... щолк... сколько этого
туняядцу развелось.

— Баловство... щолк!... Собирает, а норовит в
карман... щолк! Лень работать...

— Я бы эту гниду, которая в карман... щолк...
вот эдаким способом... щолк!

— Намедни к Илье Петровичу баба рваная в
сени вошла. На руках дите. Увидала крендель на
окошке, цап крендель. А Илья Петрович ее цап-царап,
ну и того... щолк!.. наkostenялял!

— Правильно... щолк!

— С ними без этого нельзя... щолк!..

Из кулька в рогожку.

(Моментальная фотография).

Гражданин в чесучевом летнем костюме, белой шляпе и желтых башмаках высморкался в клетчатый надушенный платок, оправил золотое пенсне, вздохнул, закурил толстую папиросу из серебряного портсигара с массивной золотой монограммой, сверкнул бриллиантом на мизинце и сказал горько:

— Не живешь, а влачишь существование. Бьешься рыбой об лед, из кулька в рогожку треплешься, через пень—колоду... Эх-ма!

Он глубоко вздохнул. Его сосед в лакированных ботинках тоже вздохнул. В саду, где они сидели, играла печальная музыка, дорожками шуршали нарядными туалетами изящные женщины, в буфете хлопали пробки и звенела посуда, из самых темных углов сада по обычаю доносился кокетливый визг, бодрое молодое ржанье и смачные протяжные поцелуи.

— По профессии я инженер, свое дело знаю отлично, до революции получал 700 рублей, а сейчас 83 рублика—как жить на это?—с горестью продолжал гражданин в желтых башмаках. С голоду помирять, на веревке давиться, в омуте топиться, а?

— М-м-да!—подтвердил сосед.—Трудно!

— Не трудно, а просто невозможно!—с жаром подхватил инженер.—Давайте-ка, посчитаем? Слушайте!

Он загнул один палец, сверкнув бриллиантом на другой руке.

— Имею, значит, 83 рубля ежемесячно. Дальше. Семья у меня: я сам друг с женой, трое детей, брат студент, свояченица на балетных курсах, теща и две прислуги. Итого, значит, десять душ и ртов. Работник я один. Так?

— Так,—согласился сосед.

— Считаю расходы.

Сверкнув двумя бриллиантами, говоривший начал загибать пальцы по каждой статье расхода особо.

— Квартира тридцать рублей в месяц, дрова десять, прислуге тридцать, за воду—электричество семь, брату ежемесячно сорок, свояченице пятьдесят, на стол полтора, на одежду—обувь кладу в среднем двадцать, жене на булавки пятьдесят, то-да-се, глядишь, еще пятьдесят. Ну, да ладно, этим, самым необходимым, кроме прочих расходов, и ограничимся. Это выходит в общем... тридцать, да десять, да тридцать...

— Всего выходит четыреста тридцать семь,— подсказал сосед.

— Вот видите, какая прорва. А я получаю восемьдесят три.

— Так, как же вы?—с состраданьем спросил сосед.

— А кое как, из кулька в рогожку, рыбой об лед бьешься... Эх, да что тут. Пойдемте лучше поужинаем маленько. Горькая наша жизнь, тяжелая, хоть суму на плечи надевай.

Прятели оба вместе вздохнули и пошли. Через несколько времени, все еще храня грустное выражение на лице, человек в желтых башмаках заказывал служащему буфета;

— Приготовьте нам селянку осетровую, да чтобы капорцев побольше положили. На второе дайте ветчину в малаге. Ну, бутылку портвейна получше, да бутылочку игристого заморозьте. Фрукты у вас есть какиенибудь?...

В саду попрежнему рокотала печальная музыка, шуршали платья, раздавался визг, ржанье, хлопки пробок, словом—все было очень грустно, как грустная физиономия человека с окладом восемьдесят три рубля в месяц.

В з я т к а.

Разговор с редактором.

— Напишите о взятке.

— А что это за штука?

— Вкусная, говорят. Питательная.

— А где ее найти?

— Прячется, подлая. Без прописки живет.

— Гм. Значит, искать надо. Гм! Пожалуй поищу.

Третий день бегаю, высуня язык. Увы! Нигде нет. С горя и устатку зашел в ресторан.

— Чего прикажете-с?

— Взятку приготовьте. Редактор говорит—вкусная штука, питательная.

— С-сию минуточку-с.

В два счета передо мной две бутылки.

— Вот тут чистый, а здесь коньяк-с.—Для газеты мы в лепешку. Потому—держава, можно сказать, и очень приятно-с. Одно слово пролетарьят.

— А взятку нельзя приготовить?

Глубокий вздох.

— Дела плохи. Впрочем, еще бутылочку спроворим,

— Не надо бутылку. Взятку бы...

Судорожный вздох.

— Явите божескую милость: весь спирт роздал. Гостям не останется. Впрочем, еще бутылочку прибавим. А вы черкните при случае, что мол—свежая партия артистов прибыла.

— А взятки не будет?

Отчаянный вздох.

— Господи боже, да у меня не железная дорога! В крайнем разе еще бутылочку! Куда ни шло!

— А на железной дороге взятка найдется?

— На железной то дороге? Да там этого добра сушие бугры. Одно слово, Альпы гималайские.

На железную дорогу. Бегом!

Учтивый разговор в кабинете.

— От газеты? Оч-чень приятно, оч-чень и оч-чень приятно. Наша обязанность, чтобы в контакте и в интересах, так сказать, диктатуры. Мы с вами, вы с нами, так сказать,—смычка.

— Покорно благодарю. Я насчет взятки. Говорят, питательная штука.

Брови к потолку.

— Взятка? Это что такое?

— Незнакомы?

— Нет.

— А мне сказали, будто на железной дороге...

— Ерунда. Паровозы, вагоны у нас имеются, а взятки не держим. Куда нам взятка?

— Досадно. А я думал найти у вас.

— Извините, не держим.

— Может, посоветуете, как ее найти?

— Верьте совести — не знаю.

Что поделаешь? Встал, откланялся и пошел.

— — —
Есть такая торговая фирма „Взаимное доверие“
Бухгалтер фирмы мой квартирный хозяин. В бессон-

ные ночи я слышу, как он щелкает костяшками счет и приговаривает:

— Агенту за содействие триста... за ордера вне очереди двести... эксперту за прием товара тысячу... секретарю к празднику тысяча... железнодорожникам десять тысяч... заведующему складами... бухгалтеру...

А я слушаю и ломаю измученную голову:

— Как найти взятку?

Учитывая взоров в кабинете

— От взятки? Он ведь... —
Наша обязанность... —
и в интересах, так сказать... —
и с нами, так сказать... —

— Попробуйте... —
патальная штука... —
брови к подолку... —

— Взятка? Это что такое? —
Незаконно? —
Нет. —

— А мне сказано, что на железной дороге... —
Бруда. Провод, вагоны, у нас неюется, а... —
важнн не держим. Куда нам взятка? —

— Досадно. А я думал найти у вас... —
Нашиште, не держим... —
Может, посоветуете, как ее найти? —

— Будьте советни — не знаю... —
Что подвезешь? Встал, отдался и пошел... —

— Есть такая торговая фирма... —
Бухгалтер фирмы мой квартирный хозяин. В бссен...

Миллиард.

(Голодное—по Гоголю).

Миллиард!

Чуден миллиард при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь базары и лавки яркие знаки свои. Глядишь и не знаешь, человек это или зверь; и чудится, будто это пасть бездонная и будто жрет она без меры, без устали, без останову, жрет непрерывно и не давится. Любо воскресшему оптовому оглядеться с торговой вышины и погрузиться в поток миллиардовых вод и слюни пускают торговцы помельче. Вечно-голодающие, они толпятся вместе с советскими спецами у миллиарда и, наклонившись, глядят в него и не наглядятся, и не налюбуются миллиардом, и усмеваются ему, и приветствуют его, восклицая:

— Вся власть миллиарду!

Дальше миллиарда они пока не считают: никто, кроме деятеля внешторга и дипломатов иностранных миссий, не зарабатывает больше миллиарда. Редкий вор сразу хапнет миллиард.

Миллиард! Милый! Возлюбленный! Гряди скорее в карман!

Неплох миллиард и темной ночью, когда все засыпает: и губрозыск, и милиционер, и сторож при

фабрике, а миллиард ползет на брюхе к утерянному совнархозом складу и неспеша отмыкает замки и раскрывает заветные двери. Лошади наготове. Тюки, ящики, бутылки с кислотами, бочки с красками грузит миллиард на подводы и отправляет к себе на квартиру. на следующий день ходит по советским учреждениям и предлагает свежую партию заграничного товара. И берут, берут у него нарасхват и расплачиваются за наличный расчет с благодарностью.

Ловкий! Водит он покупателей за нос и приговаривает: а кабы мне полную волю дали! И нежась, прижимается ближе к трестам.

Когда же советские грузы идут по железной дороге, миллиард наострил уши и миллионы, изламываясь меж железнодорожников, разом осветят вагон с сахаром. Страшен тогда миллиард! Пустой вагон из под сахара гремит к Поволжью, ударяясь о рельсы, и хохочет и заливается вдали: ограбили. Так радуется мать ребенка в надоевшем Поволжье, провожая своего сына на кладбище: синий, кожа да кости лежит он в гробу, весело улыбаясь, а мать пляшет перед ним и ликует — цел, не успели съесть! А миллиард тут же, благочестиво крестясь и вздыхая, дает кочан гнилой капусты со словами.

— Жертвую.

Миллиард! Нет доброты, равной ему в мире!

Кривая педагогика.

В магазины приходят экскурсии школьников, которых знакомят с торговлей.

Отрадный факт.

— Ну, Васютка, рассказывай, чему тебя нынче учили.

— Нас теперь, тятка, по разным местам водят. Показывают всячину. Вчера в колбасной были.

— Зачем?

— Колбасу показывали, тятя. Эх, и колбаска, тятя. Всех сортов. Копченая, вареная, с жиром, ветчина разная, сосиски какие-то. Учитель говорит, смотрите, как делают колбасу на машинах. Вкусно, тятя,— так бы и поел. Тятя, купи колбаски полфунтика?

— Вишь, какой. Колбаска то, мил друг, кусается.

— Мне, тятя, вчера приснилась эта колбаса. Будто этой самой колбасы у нас дома, а мы едим, едим, едим...

— Нечего тут... расскажи, как она делается.

— А мы не видали. Мы все на колбасу смотрели, тятя купи!

— Купило притупило... куда еще то вас водили?

— В лавку водили. Вот так лавка, тятя. Духи, помада разная, зеркала, матерьи разные, мыло хо-

рошее, кружева, калоши хо-о-о-ро-шие, яркие... башмаки дорогие, трости, зонтики, мячи резиновые. Неужто, тятя все это покупают?

— Покупают.

— У меня, тятя, аж дух захватило. Кабы нам все это! Тятя, купи мне новые башмаки с калошами.

— В сапогах хорош.

— Ну, мяч резиновый

— Мать из тряпок сошьет.

— Другие покупают же, тятя. Купи мячик Мне махонькой. А то купи лучше сапожки, тятя. Как дачки на фабриках дадут, так и купи сапожки. Мои худые, а в лавке новенькие, лаковые. Купишь, тятя, а?

— Ты, Васька, вот что.. Не вздумали-бы ваши учителя в винную лавку вас вести. Так ты того... не ходи, смотри. Отец, мол, не велел. Он, мол, хоша и дурак необразованный, а с понятием. Не ходи, Васятка. А то спотыкачу, либо рябиновой просить станешь.

Зрящая педагогика.

Кроме ученических экскурсий бывают еще выставки ученических работ. Если не всегда удаются экскурсии, то с выставкой дело проще.

Ученица 2 группы 1-й ступени Федот Егорыч Мягкосердов, сорокалетний муж с плешью и рыжей бородой, в которой заплутался кусочек воблы из пивной, наш друг, приятель и собутыльник, деловито сказал нам:

— Некогда, дружище, по концертам таскаться. К выставке готовлюсь...

Перед ним лежал лист бумаги, на которой была нарисована цветными карандашами желтая лошадь с синей головой, красными глазами и зеленым хвостом

— Каково? — самодовольно прищурился Федот Егорыч.

— Ловко, — согласился я. — Фантазия большая,

— Сейчас дом рисовать буду,—сообщил Федот Егорыч. — Потом собачью будку с нашим Трезором начну... Не желаешь выставке помочь?

— Что это за выставка?—полюбопытствовал я.

— Чорт ее знает, какая.. Катюшка!—в дверь крикнул Мягкосердов.—Какая у вас там выставка?

— Учительница велела! — ответил детский голосок.

— Третий день стараюсь,—сообщил приятель.— Катюшка моя не может сама, а велели, чтобы две картины принесла. Ну я, нарисовал ей чижа в клетке и кочергу с ухватом. Вишь, понравилось Катюшкиному начальству. Еще велели, да поскорее. Я сапоги изобразил, самоварную трубу. Понравилось ужасно. Талантливая, мол, ученица. Завалили заказами мою Катюшку, а я вот отдувайся. Эх-ма! Как по твоему, бывают собаки с голубым хвостом? Можно для разнообразия собачий хвост голубым выкрасить?

— Валяй голубым, — разрешил я. — Не все ли равно, какой хвост.

Вместе со всеми прочими любителями детского творчества и под руку с Федотом Егорычем, я осматривал выставку ученических работ. Известный профессор Дыможогов, показывая пальцем на собаку с голубым хвостом, говорил группе благоговейных слушателей обоего пола, которые смотрели в рот профессора, раскрыв собственные рты:

— Э-э-эм... обратите... э-эм... внимание... э-эм... на этот рисунок девочки девяти лет. Изумительная комбинация красок! Э-э-эм... это, господа, прямо гениально—свежее восприятие цветовой гаммы ребенком. В действительной жизни как будто не бывает собак с голубым хвостом. Но, смею уверить, ребенок непосредственным зрением расширяет границы мира, восполняя нашу слепоту.

Федор Егорыч самодовольно кашлянул, выпятил гордо грудь колесом и брякнул мне на ухо;

— К чорту службу! Поступаю в художники.

Про почтовые марки.

Ровно в два часа я пришел на почту. Купить почтовых марок. Встал у окошечка „продажа знаков оплаты“.

— Позвольте марок.

Почтенная дама спиной к окошечку говорила молоденькой барышне:

— Грузди сначала мочить надо. Дня два, чтобы горечь отбило...

— Позвольте марок,—повторил я.

— Когда вымокнут, возьмите чистую кадочку, выпарьте хорошенько...

Половина третьего я сказал сурово:

— Послушайте, нельзя ли марок?

— Сейчас, сейчас,—ответила дама, повернув к окошечку ухо с длинной серьгой.

Без четверти в три почтенная дама торопливо говорила барышне:

— До свидания, до свидания... к сожалению, мне некогда... ужасно много работы... до свидания.

Ровно в три я просунул, разъяренный, голову в окошечко и рывкнул, что было мочи:

— Дайте мне марок!

Почтенная дама облила меня презрительным взглядом, не спеша подошла к своему стулу — вот

так: шлеп, шлеп сандалиями. Села. Поправила прическу. Подняла упавшую шпильку. Высморкалась в клетчатый платок. Потом сухо спросила:

— Вам что угодно?

— Почтовых марок на три заказных письма.

Почтенная дама открыла деревянный ящик для марок, глянула внутрь, потом сказала:

— Сейчас принесу.

Встала со стула, шлеп, шлеп сандалиями и ушла в самую далекую комнату.

Часы пробили четыре.

— — —

Три минуты пятого я стоял перед заведующим почтой и вопил:

— Возмутительно... так нельзя.. протестую! и прочая и прочая.

Заведующий почтой сказал, показывая на часы:

— Занятия кончились, приходите завтра. Напишите заявление, соберите подписи свидетелей, отнесите входящей, возьмите номер, дайте его исходящей — ... и так далее, и тому подобное.

Комсомольское.

Лет этак двадцать тому назад.

— Исидор Узкоплечев! — возвещает гнусавый голос человек в золотых пуговицах на сюртуке и жилете.

— Я-с, — почтительно откликается комарий дискант.

— Ступай к классной доске на колени за то, что неприлично шумно чихнул.

В соседнем классе.

— Геннадий Сундучков! Скажи, какая мораль басни „Стрекоза и Муравей“?

— Мораль такая, что в поте лица добывай хлеб свой, уважай труд; презирай праздность и почитай бога, сотворившего землю для пропитания, а не для развлечения.

— Правильно—и, добавь еще, почитай начальство с юности, доживешь до старости. Теперь Казанский, повтори мораль басни!

В следующем классе.

— Ефим Паскудин, в какой день Всемогущий сотворил лягушку?

Еще дальше по коридору.

— А скажи, братец ты мой, носили римляне штаны или нет?

И еще дальше.

— Никонор Вывертов, ставлю тебе единицу за то, что в твоей тетради нет промокательной бумаги? Давай сюда балльник.

А вот это дома.

— Почему двойка из латыни?

— Я... папаша... я, мамаша... я позабыл насчет римских штанов.

— Ага! Так то, мерзавец, учишься? Марья, принеси ремень! Скидай, прохвост, штаны, я тебе покажу, чего римляне носили. Даша, держи его, негодяя за ноги!

И возрастали дети почтенные, превращались в добронравных, почтительных, законопослушных, родителям на утешение, церкви и отечеству на пользу! Рожали в свою очередь детей, которым, говорили:

— Так ты, мучитель наш, позабыл, в какой день Всемогуший лягушку сотворил? Скидай штаны, я тебе напомню!

И вот теперь. Гм. Как бы поприличнее, безобиднее сказать. Ну, куда ни шло!

Сидят пятеро бородатых, усатых. И пятеро безусых, безбородых, один из которых говорит:

— Вы нас извините, но с вашим учебным планом мы согласиться не можем. Нам бы хотелось побольше часов на естествознание...

— Товарищ Широкоплечев, уважаемый товарищ, мы на основании опыта многолетней практики педагогической работы знаем, что делаем, и потом—доложу вам—программы и планы выработаны многоуважаемым Наркомпросом и потому, принимая во внимания и исходя из...

— Извините, мы будем протестовать перед Наркомпросом. Наркомпрос для нас, а не мы для Наркомпроса,

Без названия.

I.

Утро.

Поперек кровати тело в пальто, в калошах. Калоши уперлись в стену. Голова свесилась с кровати на манер спелой тыквы с высокой гряды. Лицо обращено к ведру на полу, в который уперлись руки. Трескучий храп сотрясает тишину.

Девять часов. Десять. Одиннадцать. Храп прекращается. Владелец тела шевелит пальцами рук, с трудом поднимает голову и показывает майскому солнцу лик, украшенный царапиной на щеке, засохшей горчицей на другой щеке и парой вспухших глаз, из которых один закрыт багровой синевой.

—Ох!—произносит проснувшийся и с такой надсадой, как будто он поднял не собственную голову, а мешок с мукой.

Осторожно слезает с кровати, морщась, кряхтя, и минуту-другую сидит на полу, вперив в пространство горестный взгляд. Потом встает на ноги, но тут же снова садится со словами:

—Бр-рр-ры!

Что это обозначает, неизвестно, но шумные вздохи свидетельствуют о чем то невеселом.

Новая попытка встать, новая неудача, новые вздохи. И наконец болезненный вопль недорезанной птицы возглашает:

— Даша, принеси скорее другое ведро!

А впредь до прибытия Даши другое ведро заменяет щегольская весенняя шляпа.

II.

День.

Тихая обитель: пивная. У потолка свисает канарейка. Из угла смотрит Николай чудотворец. На стойке закуски: пара красных раков, моченый горох. За стойкой светлая личность ожидает гостей.

Вот они. Дверь открывает мужчина с папкой, на которой написано „дело № 29“. Следом человек, у которого глаз завязан платком, а в руках портфель. Садятся.

— Одну бутылочку!

III

Вечер.

На столе бутылки, под столом бутылки, около стульев бутылки.

Еще одну,—заказывает пришедший с папкой.

— Давай три, — цоправляет завязанный глаз.

IV.

Поздний вечер.

Пяťась, спиной, вперед, на улицу выходит „дело № 29“. За ним бредет человек с портфелем.

— Теперь куда?

Столб для афиш подбегает к друзьям, которые обнимают незнакомца, прижимают его к груди и приглашают:

— Пойдем с нами?

Столб для афиш ни слова.

V.

Ночь.

Перед будочкой милиционера двое людей. Один осторожно стучит пальцем в досчатую дверцу:

— Даш, а Даш!

— Ответа нет.

— Дашенька!

— Молчание.

— Даша,пусти!

— За дверью тишина

— Гм, странно. Ушла что ли? Даша! Нетерпеливый стук в дверцу.

— Никого!

— Дарья от-то-пр-ри, наконец!

— Тишина.

— Ну, погоди!

Уцепившись в скобу обеими руками, один из приятелей сильным рывком открывает дверцу будки и с торжеством приглашает:

— Миша, входи!

VI.

Мирная беседа в будке.

— Закрой дверь, дует. Чаю хочешь? Даша поставит самовар.

— Спасибо, дружище. Давай спать, завтра заседание.

— У меня тоже заседание. Ложись рядом со мной, вот так... Удобно?

— Оч-чень удобно!

— Храп.

Пожарная машина.

Действие в селе, в просторной избе, в которой набилось с полсотни мужиков и баб, пришедших на сход.

За колченогим столом, у печки, дядя Василий — председатель сельского комитета; — дядя Матвей — секретарь сельского комитета.

На столике коптит лампа.

Дядя Василий, звонит бубенчиком, снятым с дуги, — Граждане, приступаем к заседанию. Прошу в тишине, разговор важный будет. Гражданин секретарь, бумажная письменность припасена?

Дядя Матвей (лениво), — Припас. Только зря ты, Тихоныч, мудришь. Все равно я писать неспособен.

Дядя Василий (звонит бубенчиком). Нельзя без письменности, не закон... Вот что, братцы. В Марти-монове вчера пожар был.

Дядя Матвей. — Всю ночь тушили.

Дядя Василий (звонит бубенчиком). — не перебивай, Петрович, я сам. Так вот, говорю я, пожар горел. Всю ночь тушили и семь изб в пламени вместе с движимостью и недвижимостью до тла сгорели.

Дядя Матвей (перебивает).— Не звони, Тихоныч, ради бога бубенчиком. Словно становой, бывало, едет. Прекрати пожалуйста.

Дядя Василий (с чувством собственного достоинства).— Да нешто возможно председателю без звону?— (звонит бубенчиком).— В городе все председатели в колоколец бьют и строжничают над прочими. Ты меня, секретарь, не перебивай, а то я и в протокол могу. Займись лучше бумагой и не мешай.

Дядя Матвей (со вздохом).— Ну звони, на здоровье, коли закон того требует. Больше не буду.

Дядя Василий (звонит бубенчиком).— Так вот, братцы, желательна ли вам сгореть?

Все (хором и испуганно).— Типун тебе на язык!

Дядя Матвей (стучит пальцем себя по лбу).— С бубенцем мужик, а того...

Дядя Василий (сердито).— Секретарь, не мешай! Всегда ты вроде канавы среди дороги. Ни тпру, ни ну сказать нельзя. Право, запротоколю!

Дядя Матвей (тревожно).— Зачем в протокол, Тихоныч? Ежели мешаю, я уйду лучше.

Дядя Василий (сходу).— Я, братцы, вот к чему про пожар спрашивал. Мартимоново горело потому, что там пожарной депы с машиной нет. В Сергеевке вот имеется такая машина, пожару там и не бывает. С машиной, братцы, дело надежное. Загорелось, наведи кишку и вся недолга. Умная машина то. Скажем, огонь где объявился. Сейчас, значит, в депу надо. Выкатишь машину, кишку размотай, один конец в воду, другой в пожар. Покачал машину за снасть, вода в один конец кишки вливается, в другой вылетает. И никакой пожар тебе не страшен.

Дядя Матвей (задумчиво).— Это хорошо.

Все (хором).— Кабы нам такую кишку!

Дядя Василий (довольный, что его поняли).— К тому и реч веду, братцы. Я председатель и обязан для вас, чтоб все по хорошему и по закону.

Дядя Матвей (льстиво).—Что же вы, Василий Тихоныч, в бубенец не звоните? Дозвольте я помогу.

Дядя Василий (важно звонит в бубенец).—Я сам обязан. Так вот, братцы, давайте про машину обсуждать. По нашему, надо и вам себя на случай пожара охранить. Купим что ли? В городе сказали, что нам рассрочку сделают.

Дядя Матвей.—С кишкой?

Голос из толпы.—Цена качая?

Женский голос.—Кишка не порченная?

Бас.—Ко мне в сарай и поставим.

Тенор.—Как бы не так. У меня тоже сарай имеется.

Все (перебивая один другого).—По череду будем. Сначала ко мне, потом к тебе. Никому не обидно так. Верно.

Дядя Матвей (перебивая всех).—Лучше, братцы, вот как. Скажем, ко мне машину, к тебе, Никанорыч кишку, а ключ председателю. Кишку с машиной по очереди хранить будем, ключ пушай все время у Тихоныча.

Все (хором).—Можно и так.

Дядя Василий (во всю моч звонит и стучит по столу кулаком).—Прошу тишину. Секретарь, лампу уронишь! Эй, Митревна, сказано не кричи. Я про машину еще не кончил. Цена ей 900 рублей.

Дядя Матвей (беспокойно).—С кишкой?

Дядя Василий.—Со всем снарядам 900 рублей и в рассрочку.

Все.—Покупать надо!

Дядя Матвей.—Я за машиной и с'езжу.

Дядя Василий.—Тогда я голосить стану, ежели все согласны. (Звонит бубенчиком). Прошу покорно тишину и порядок.

Голос из толпы.—Голоси скорее, а то продадут машину. Почнут, спаси бог, наши избы гореть.

Все (тревожно). — Голоси, Тихоныч. Выплатим девятьсот, осилим. Лес срубим, а машину выкупим.

Дядя Василий (торжественно). — Следственно покупаем машину?

Все. — Покупаем. Покупаем.

Дядя Василий. — Приговор, значит, можно про машину писать?

Все. Можно, пиши.

Дядя Матвей (в раздумьи чешет затылок). — Оно, конечно, хорошо с машиной, ежели пожар. А ежели пожара не будет? Бог хранит нас вон сколько время. Поставим машину, а без толку. (Все смущенно смотрят друг на друга).

Дядя Василий (колеблясь). — Гм, оно действительно так. Девятьсот деньги большие. Пожара не будет, куда нам ее!

Голос из толпы. — Жили и без машины.

Дядя Матвей (все время соображая). — Или, скажем, пожар сделается, а кишка вдруг испортилась. На что тогда машина?

Бас. — Господь с ней и с машиной.

Тенор. — Авось, не сгорим?

Женский голос. — Бог милостив.

Дядя Василий (нерешительно звонит). — Прошу тишину, братцы. Девятьсот не малые деньги. Истратимся, а вдруг зря!

Дядя Матвей. — Главное, кабы про пожар знать. Купим машину, а она без действия будет.

Дядя Василий (со вздохом). — Так как же? Не покупать что ли?

Все (решительно). — Бог милостив, не надо!

Дядя Василий. — И в приговор не писать о машине?

Все. — Не надо, авось не сгорим.

Дядя Матвей (с ожесточением чешет в затылке). — А не купить, боязно. В Мартимонове тоже вот все не было пожара и вдруг семь изб. Кабы машина была у них, навели кишку, глядишь пожар и погас.

- Голос из толпы.—И я так думаю.
- Женский голос.—И скотина там погорела.
- Бас.—С машиной покойно.
- Тенор.—Навел кишку и погасло.
- Все.—На то она и машина.
- Дядя Василий (неуверенно звонит бубенчиком).—
Прошу тишины... девятьсот зря не возьмут, братцы.
Деньги, конечно, большие, зато пожару не опасайся.
- Дядя Матвей (решительно).—Покупать придется!
Все (дружно).—Правильно, покупать надо.
- Дядя Матвей (нерешительно).—А ежели пожара
не будет?
- Все.—Тогда и покупать не надо.
- Дядя Василий (растерянно).—Так как же братцы?
Не покупать?
- Все.—Не покупать, не надо.
- Дядя Матвей (размышляет вслух).—А вдруг по-
жар?
- Дядя Василий.—Или купить?
- Все.—Придется, пожалуй.
- Дядя Матвей (с отчаянием в голосе).—А как зря
будет она стоять?
- Все (с отчаянием в голосе).—И то верно!
- Дядя Василий (секретарю гневно).—Да что ты,
истукан, мучаешь нас? Говори чтонибудь одно. По-
купать или нет?
- Дядя Матвей (твердо).—По моему, не надо.
- Все (твердо).—Не надо!
- Дядя Василий (в великой тоске).—А вдруг по-
жар загорится?
- Дядя Матвей (со вздохом).—А придется пожалуй,
купить.
- Все (со вздохом).—Пожалуй, надо купить.
- Дядя Василий (бросает бубенчик на пол).—Сил
моих больше нет. Тьфу! Девятьсот рублей в печку
бросим, ежели пожара не будет.
- Дядя Матвей.—Девятьсот деньги большие.

Дядя Василий (внезапно что то сообразив).—Постой, погоди, тишина и порядок!

Все (затаив дыхание).—Придумал чтонибудь?

Дядя Василий (закрыв глаза ладонью).—Постой, погоди, не мешай. Кишка, значит, в оба конца?.. Постой, тишина и порядок! Из одного конца, значит, поливает... постой, не мешай. Другой конец, следовательно в воду. А другой конец-то короткий, я сам видел. Значит, в колодец-то не хватит его, а у нас кроме колодца нигде воды нет... постой, погоди. А ежели другой конец в бочку, так не напасешься бочек. Лучше уж ведрами носить. Братцы! (Отнимает ладонь от глаз и весело кричит): не надо нам машины, бесполезна она. Другой конец кишки некуда девать!

Все (пораженные).—Вот так башка у Василия Тихоновича. Прямо поп!

Дядя Матвей (восхищенный оборотом дела, поднимает с полу бубенец и подобострастно подает председателю).—Молодчина, Тихоныч. Не зря, значит, бубенцом мы тебя почтили. Звони, друг, обществу на пользу. На!

Дядя Василий (весьма польщенный).—Мы что, мы обязаны. (Самодовольно звонит).

Голос из толпы (льстиво).—Василь Тихоныч, будь другом. У меня на дуге еще бубенчик остался. Возьми, сделай милость!..

Без темы.

(Провинциальный вздох)

Унылый сижу у окна, смотрю на улицу и думаю: про что бы написать?

Не про что писать, темы нет. И в голове пусто, как в кооперативной кассе.

— О чем же?—вопрошаю себя в сотый раз.

Дюжина свиней мирно пасется на улице. Свиньи дружно роют зеленый луг, тротуары, мостовую. Одна Хавронья легла поперек мостовой. Хороша! Прохожие любят восьмипудовую красавицей, иные мимоходом почешут жирную спину.

— Не про что писать!—вздыхаю с горечью.

Пара коз уперлись передними ногами в столб для объявлений и обдирают афиши с воззваниями, лакомясь засохшим клейстером.

Весело гогочут гусиные стада, крикают жирные утки, рачительные куры разбрелись по всей улице, подбирая просыпанные зерна.

Напротив окна пивная с нарядной свежей вывеской. Одиночки и пары входят в раскрытую дверь. Вон растрепанная тетка в желтой кофточке схватила за рукав дядю с репьями в волосах и на штанах. Тетка не пускает, дядя вырывается и громко пере-

числяет душу, сердце, печенки, селезенки и прочие внутренности своей матушки. Тетка упрямая, дядя—наконец—рассердился и сразмаху приклеил большой кулак к уху тетки.

— Нет темы,—думаю со скукой, равнодушно скользя глазами вдоль улицы.

— Блям-м,—прыгает в улицу с ближней колокольни тоскливый, воющий звон.

Это ко всенощной зовут труждающихся и обремененных. Сосед—торговец на пороге своей бакалеи трижды осеняет крестным знаменем богатырскую грудь и баском кричит внутрь лавки:

— Митька, гони нищую. Бог подаст.

Сверкая на солнце новыми галошами, мимо окна проходит низкорослый, коренастый мужчина в черной рясе и задумчиво говорит худощавому спутнику в соломенной шляпе.

— Трех бутылок, Федя, нам мало с тобой. Покупай четыре.

— О чем же написать?—вопрошаю себя в отчаянии и едкая горечь сосет под ложечкой.

— Фро-о-о-нька, ч-чорт, скоро-ли во-о-оду принесешь?—вопит на другой стороне улицы знакомый учитель школы какой то ступени.

— Не-е-су!—отзывается тонкий дискант.

Согнувшись под тяжелыми ведрами на манер складного аршина, с дальнего колодца спешит, семенит босыми ногами девица лет тринадцати..

Нет темы..

— Нет, тем, — думаю со сжурой, равнодушно
— Еван-и — прыгает в явану с бананной коро-

— Матька, тонн вынул, но подал.
— Матька, тонн вынул, но подал.

— Матька, тонн вынул, но подал.
— Матька, тонн вынул, но подал.

— Матька, тонн вынул, но подал.
— Матька, тонн вынул, но подал.

— Матька, тонн вынул, но подал.
— Матька, тонн вынул, но подал.

— Матька, тонн вынул, но подал.
— Матька, тонн вынул, но подал.

— Матька, тонн вынул, но подал.
— Матька, тонн вынул, но подал.

— Матька, тонн вынул, но подал.
— Матька, тонн вынул, но подал.

— Матька, тонн вынул, но подал.
— Матька, тонн вынул, но подал.

— Матька, тонн вынул, но подал.
— Матька, тонн вынул, но подал.

Сытое.

II. СЫТОЕ

Калит очередики Конца картошки
Мука, крупа, мясо, сахар, масло, табак, рыба,
консервы, — кашбеси, сыр, фрукты, вино, медь,
шнны, молочары, кэтки, ноше прэмис
И ноше лесна.

Рух удивитя, выдэтка, коньяк, медь, мука
на украинском языкé (украинская мово)

II. CPTOE

Сытое.

Голодные разговоры как будто умолкли. Относительное обилие плодов земных и гастрономических изделий. Суп из человечины в мрачном прошлом. Картофельная шелуха—вместо хлеба—забыта. Не верхом на обледенелом буфере по трем губерниям за одним пудом мороженой картошки путешествует обыватель. В теплом вагоне ворчит он на недостаток мягких пружинных диванов. Не кашляет на каждой версте паровоз, а дышет полной грудью и во все лопатки мчится за премиальными. И стройная бутылка пива украшает станционный буфет, а товарищ «человек» радостно ввинчивает в свежую пробку возрожденный штопор..

Воскрес из мертвых, вылез на свет божий из под широкой двуспальной кровати многоуважаемый Тит Титыч и в образе товарища Тита орудует за прилавком.

Капут очередям! Конец карточкам!

Мука, крупа, мыло, сахар, масло, табак, рыбы, консервы, колбаса, сыр, фрукты, вино, цветы, женщины, миллиарды, взятки, новые времена!

И новые песни.

Рука узловатая, жилистая, коммерческая рука.
На украшенном тремя бриллиантами пальце ноготь

вроде кузнечной наковальни. Лежит на этой наковальне кухарка Дашка и трепещет;

— Ой, да нут?

Примечание для шкраба: «давнуть» от глагола «давить».

— Дарья!—воскликает коммерческий ноготь. Примечание для Дарьи: не столь давно была она „милая Даша, сбегай в Совдеп, авось самого выпустят, уважат тебя по причине, что ты пролетарьят“.

Итак.

— Дарья!—воскликает коммерческий ноготь.— Чувствуешь ты мою силу?

— Чувствую—трепещет Дарья.

— Понимаешь, что я тебя питаю, обуваю и одеваю?—вопрошает ноготь.

— Понимаю, благодетель.

— По какому же праву ты сахар воруешь?

— Я... я не я...

— Ой, Дашка! В сахарнице было два кусочка и таракан. Таракана нет и кусочка нет. Может таракан крышку у сахарницы открыть?

— Не могу знать.

— Врешь, стерва. Кто крышку открыл, тот таракана выпустил и сахар взял. Н-н?

— Я... я не я... а я только кусочек...

— Ага, торжествует ноготь.— Сахару захотела! Позабыла, как шелуху картошкину за счастье почитала. Чаю захотела? По сахару соскучилась, а?

— Я не себе... я... я не я... у меня сынишка в больнице корью свалился.. я...

— Цыц, стерва. Вот я тебя.

И другим ногтем Дашку, что на ноготь положена, вот эдак вот... шолк!

И дух вон. До сорока лет была Дарья, потом сделалась гражданкой Дарьей, превратилась в това-

рища милого Дашу, а сейчас ходит по вокзалам и
больным комаром ноет:

— Подайте на пропитание, милые благодетели,
вдове безработной...

А коммерческий ноготь тут как тут. Сверкнув
бриллиантом, подает он измятую зеленую бумажку
и приговаривает:

— Прими Христа-ради, пролетария несчастная...

Кормилец.

Был у Ваньки отец—убили на войне. Осталась мать. Поехала за хлебом, сорвалась с площадки вагона и прямо под колеса.

Всей родни у Ваньки: бабка Ульяна, братишка Петька, сестренка Анка. А разве они люди? Ульяна—глухая. Петька тараканов боится. Анка по полу ползает. Один мужик Ванька.

Стал Ванька хозяином. Ульяна печь топит, он покрикивает:

— Шевелись, старая. Жар опустишь... Хлеб был—с'ели. Картошку приели. Как быть?

— Ой, подохнем,—кряхтит Ульяна.

— Подыхай, а мы жить станем, — крысится Ванька.

Корзину в руки и за дверь.

— Сбирать пойду.

Ушел с утра. К вечерне звонят, нет Ваньки. Ребятишки скулят, Ульяна клохчет. Ночь. От луны половики по полу тянутся, а Ваньки все нет. С Миколой Угодником начала Ульяна шептаться, а в это время дверь хлоп. Ванька! Рыло широкое, смеется. Поставил корзину на стол;

— Жрите!

Вынимает Ульяна хлеб печеный, рыбину жирную, колбасу толстую. Дивное диво!

— Где ты взял?

— Украл, бабка,—кричит Ванька ей в ухо. Закаялись ноне подавать, так я сам взял. На вокзале у солдат.

Анка проснулась, засвистела дискантом, а Ванька ей сахару кусок. Взяла, сунула в рот и засмеялась. Петька проснулся и тоже засмеялся, когда хлеб увидал. Все засмеялись, весело в избе.

Целый день смеялись и все ели. А через день все приели и опять хлеба захотели.

— Пойду!—сказал Ванька.

— Поди, кормилец,—сказала Ульяна.—Пропадать нам без тебя.

Ванька прямо на вокзал. Народу гибель. Толкаются, кричат, ругаются. Чудное дело: каждый день люди едут и никак всех машина не увезет. На полу сидят, ждут, пьют, едят...

Увидал Ванька мужика с бабой. Перед ними сундук, на сундуке чайник, бутылка с молоком, самая настоящая говядина и целый каравай хлеба.

— Подайте Христа-ради,—не выдержал Ванька и руку протянул, слюнки глотая.

— Бог подаст,—сказал мужик, чавкая.

— Много вас шатается,—сказала баба сердито.

Увидал Ванька барыню в шляпе. Шуба богатская, в руках сумка серебряная.

— Подай пожалуста на хлеб,—сказал Ванька жалобно.

А барыня и не глядит на него, словно не слышит.

Увидал Ванька старика. Борода длинная, глаза добрые. На корзине сидит, большой пирог с кашей ест.

— Дедушка, подай,—попросил Ванька.

— Че-ево?—спросил старик.

— Подай пирожка,—повторил Ванька.

Подумал дедушка, на пирог поглядел и ответил:

— Поди ты, дружок, к кобыле под хвост. Я сам пироги люблю,

Вздохнул Ванька, огляделся кругом и вдруг на всех обозлился.

— Ладно, сволочи,—прошептал он и всхлипнул с досады.

Прислонившись к печке, смотрел он на мужика с бабой и на старика. Большие едят, а он маленький и его не жалеют.

Вот баба тяжело поднялась с пола, взяла пустой чайник и пошла к выходу. За кипятком. Мужик остался один. Он дожевал последний кусок говядины, повернулся к Ваньке спиной и полез зачем-то в котомку, каравай на сундуке остался без призора.

— Украду,—решил Ванька.

Кошкой подкрался к сундуку, протянул руку к хлебу и вдруг заорал что есть мочи. Словно клещи железные ущемили его пальцы.

— Воровать!—заорал мужик, вскочил с пола и зло заворочал глазами.

— Держи его!—крикнул над Ванькиным ухом парень в поддевке.

Ванька рванулся от мужика, но почувствовал тут же, что его голова будто надвое расколослась и разноцветные искры посыпались из глаз. Под ногами пол поплыл.

— Воровать!—повторил мужик и опять огромным кулачищем ударил по Ванькиной голове.

— Воровать!—крикнул парень, размахнулся и Ванька ахнул: ему показалось, что каменный потолок упал на его тело. Он присел, схватился ладонями за живот, в который сапогами начали пинать большие люди.

Померещилась ему изба родная, Анка смеется с сахаром, а бабка Ульяна говорит:

— Пропадать нам без тебя, кормилец.

Потом изба, Анка, Ульяна, дедушка с пирогом, сундук с хлебом и люди на вокзале завертелись перед ним, приплясывая, крича и визжа и Ванька почувствовал, что летит в темную, страшную дыру.

Трезвая елка.

Подняв едва не к самому потолку бокал вина (и с трезвыми такие случаи бывают), трезвый вдохновенно гремит:

— За честь и процветание нашего детского дома, ура! Исключительно вашими многоуважаемыми заботами...

Тут оратор прижимает ладонь к признательному сердцу и отвешивает глубокий поклон в сторону сконфуженного нежданной лаской попечителя.

— Вашими многоуважаемыми заботами, вашей беспримерной в мировой истории любовью к детям, вашей преданностью интересам трудящихся масс и м-мм, тому, этому... ах, да—вспомнил!.. и преданностью многоуважаемому коммунистическому интернационалу... живы мы, работники на ниве, и наши питомцы. Да пошлет вам Господь Бог... то бишь, что это я... словом ура, ур-ра, уррр-ррра, у-рррр-ррр-рра нашему вождю и отцу детей.

Ярко красный, пылающий огнем, перевязанный огненными лентами букет припадает верноподанно к ногам попечителя, который под стол готов спрятаться от трезвого красноречия и грома оваций.

— Это вы.. того... напрасно,—бормочет он.— Я тут непричем... ведь, фабрика то не моя. Это рабочие вас содержат и прочее... я кончил товарищи.

— Вы содержите, вы наш оплот,— дружно протестует аудитория.— Качать!

Проклиная свое могущество, попечитель и вождь птиц летит к потолку, взмывая над портретами Маркса и Ленина, утопающими в волнах красного ситца. А встав на ноги, видит перед собой семилетнего карапуза, который лепечет:

Масс трудящихся учитель,
Пантелей Иванов Зыбкин,
Наш отец и попечитель,
Булок, сахара и рыбки,
Ситца тридцать два аршина,
Восемь фунтов мермалада,
Свежих яблоков корзину,
Чтобы дети были рады
Отпустил нам...

Сладкие звуки поэзии, видимо, рождают некое беспокойство в хозрасчетливой голове попечителя.

— Кажется, пять кусков отпущено,— нерешительно замечает он на ухо трезвому распорядителю.

— Аршины тут единственно для рифмы с корзиной, с пленительной улыбкой успокаивает трезвый деятель.

Яблоков три корзины как будто,— напоминает попечитель осторожно.

— Из коих две сгнили,— поправляет трезвый деятель.— В помойку выбросили.

За стихами следует осмотр елки.

— Обратите внимание, пятиугольная,— тычет пальцем трезвый человек в бумажную звезду.— Хлопушки собственного изделия. Всем коллективом. В знак трудовых процессов.

На полтора миллиарда хлопушек!—мысленно восклицает попечитель и чувствует, как по спине бегают мурашки.

— Бусы, стеклярусные куклы были, да раздавили.— печально вздыхает трезвый спутник.— Снимали с подводы, вдруг—трах!— и миллиарда как не бывало.

— А вы того... поосторожнее бы.

— Дети, Интернационал! — командует трезвый деятель и, сверкая глазами на манер новых галош, запевает...

Попечитель крикает и чешет в затылке, чешет в затылке и крикает.

— Мы свой, мы новый мир построим,—весело заливаегся трезвый подняв очи к Ленину, который прищуренным глазом смотрит на подарки для детей.

Вопрос неизбежный: Почему не описаны подарки для детей и угошение для гостей.

Ответ: Второе не поддается описанию. А первое снимали с подводы и, представьте себе, вдруг—трах!—и половины как не бывало.

Разговор с приятелем.

Очень приятно потолковать с образованным человеком.

Старый, неизменный спутник нашей горестной жизни—самовар—кипит на столе. Белый хлеб, ветчина, рыбные консервы, конфекты, печенье. И, конечно, две рюмки. Теперь это можно. Чокнулись. Выпили. закусили. Подумали. Помолчали. Все переговорено. Чокнулись. Выпили. Закусили.

— Хорошо?

— Очень хорошо.

Примечание: действие в 1923 году.

Замолчали прочно. Из самовара пар тонкой струйкой к потолку. Дым папиросы тонкой струйкой тоже к потолку. Что еще? Да! Вот большой книжный шкаф. Тема.

— Почитываешь?

— А то как же? С тоски подохнешь.

— Что читаешь?

— Жития святых нашел.

— ?

— А что читать? Нечего. Поваренной книге обрадуешься.

— Да мало ли новых книг? Чудак!

— Это про революцию читать? Мерси. Сыт. Своими глазами видел.

— «Жития»—лучше?

— Усыпляют и не кричат: дай, делай, вставай, думай... Что глаза вытарацил? В нашем городе все так. Утром на службу, в пять со службы, до семи спать, а с семи старые книги читать. Не знаешь, где бы достать Исторический Вестник? Лет за двадцать бы... Ну-ка, еще!

Чокнулись, Выпили, закусили.

— Дуняша, долей графин!

Жуем, молчим. И самовар умолк. Жутко.

— У доктора Кусова корова отелилась. Знаешь Кусова?

— Знаю.

— Ну, вот. Он со скуки коровами занялся. Отличные коровы. Одна особенно. Черная, как смоль. А голова и хвост белые.

— Не может быть!

— Ей-богу... ну-ко!

Чокнулись. Выпили. Помолчали.

Книжный шкаф. Письменный стол. На стене над столом портреты—Гоголя, Щедрина, Достоевского, Толстого, Чернышевского, Пушкина... Кажется, Пушкин сказал: «боже, как несчастна наша Россия!...»

— Авдотья в бане угорел на прошлой неделе. Знаешь Авдотьяна?

— Помню.

— Ну-ка, еще.

Чокнулись. Нежная дрема накрыла голову мягкой вуалью. Глаза слипаются. Тихо, блаженно, покойно. Ни заботы, ни печали, ни Рура, ни Пуанкаре...

— Не слыхал еще наших певчих в соборе?

— Нет.

— Сходи, послушай.

— А что?

— Замечательно поют. Весь город ходит... ну-ка, еще!

Баста, сыт.

— Не хочу.

— Что ты!

— Сыт.

— Напрасно. Ну, я один. Кстати: Щепкин по две бутылки в один присест выпивает. А ведь не пил совсем.

— Пи-и-и,—жалобно, тоскливо засвистел вдруг самовар на манер комара и потом загудел басом: ду-ду-ду.

— Закрой скорее крышкой. Говорят, когда самовар воет — не к добру. К покойнику.

— Кто говорит?

— Дарья... кухарка.

1923 год. Точка.

На солнышке.

Праздник.

Солнечно, шумно. Гремят весенние ручьи, ликуют птицы.

В праздник отдыхать. Помни день субботний...

Как нарядна праздничная улица. Прошли, забыты голые, босые, злые года.

Новые пальто, новые галоши. новая шляпа, новенький костюм. Серебряная сумочка, горностаевый воротник, парижские тонкие духи... Откуда это?

Сверкают на солнце брильянты. Зелеными, синими, красными, желтыми огнями. Сытый басок рокочет нежно:

— Дорогая... милая.

Сытость, радость, тепло.

Стуча деревяшкой ноги, безрукий человек в ватной, желтого цвета куртке, остановил на углу течение толпы.

— Граждане, минуту внимания! Я, инвалид немецкой войны, уполномочен нашим комитетом продать в пользу инвалидов вот эти карточки рабочего правительства. Граждане, купите фотографию в пользу инвалидов. Купите фотографию в пользу инвалидов. Большая пять рублей, меньше—три рубля. Граждане!..

Скрючившись, раскрывает единственной рукой папку с портретами рабочего правительства.

Разговор.

— Что такое?

— Инвалид, просит пожертвовать в пользу инвалидов.

— А-а-а. Господа, что вы не видали инвалидов? Идемте пожалуйста.

Сытый басок;

— Божественная, не сердись. Здесь, в этой фабричной дыре, нет цветочных магазинов...

— Ах, перестаньте.

Любознательный гражданин:

— Инвалид, говоришь? В боях бывал?

— Да, бывал.

— Страшно, поди?

— Да, страшно...

— Та-ак... Пойдем что-ли, Иван Ильич? Чего тут стоять.

Толпа течет мимо инвалида.

— Вишь, какой... Обут, одет, а собирает. И не краснеет.

— Туда дай, сюда пожертвуй. Напасешься?

— Дарья Павловна, я вас жду в театре. Придете?

— А шоколад будет?

— Митя, гляди-ко, брюки-то. Вот бы такие!

— Бр-р! Замучила изжога.

— Семгой об'елся... брр.

— Федор Федорыч, заходите сегодня!

— А что?

— Тяпнем по малости!

Папка с портретами закрылась. Деревянная нога стучит в переулке, унося разбитое тело инвалида.

Гремят ручки, солнечно, тепло, но какой мороз! Как основательно, прочнохватило крепким морозом эти квадратные, скуластые лица - кирпичи. Холодные, коммерческие глаза. Холодные, замороженные слова.

Мороженный, колющий смех. Новые костюмы, новые галоши, новые пальто, брильянты, тонкие парижские духи, новые люди...

— Подайте копеечку!..

Мальчишка в опорках на босую ногу. Не проси! Миновали голые, босые, голодные, злые года. И ничему не научили.

Л Е Т У Н Ы

Л е т у н ы.

От Москвы к Нижнему курсирует пассажирский аэроплан. Очевидно, для очень богатых, или деловитых людей, которым время дороже денег. Плата солидная, сто пятьдесят миллионов.

Впрочем, что такое сто пятьдесят миллионов? Тьфу! Деловой завтрак. Грошовая взятка. Дешевое колечко нужной барышне из Треста.

Ведь, добываются эти миллионы ужасно просто. Цирковой фокусник опускает в шляпу горелую спичку. Эйн, цвей, дрей. На ваших глазах фокусник вынимает из шляпы, вместо горелой спички, дюжину куриных яиц. Вы поражены, фокусник мило улыбается.

Современный миллиардер показывает свои руки. Чистые, выхоленные пальцы украшены бриллиантовыми перстнями, которые внушают полное доверие и глубокое уважение к владельцу бриллиантов. А он засучил рукава—эйн-обворожительно улыбнулся, цвей-полез в ваш карман и дрей-укладывает ваше жалованье в бумажник крокодиловой кожи.

Попробуйте крикнуть:

— Караул, ограбили!

Миллиардер возразит:

— Никакого грабежа, а всего лишь коммерческая инициатива.

Был склад казенной обуви. Эйн, цвей, дрей и склад сгорел, а фирма «Взаимное доверие» очень дешево и срочно продает случайную партию сапог...

Машина разбежалась, взмыла вверх и поплыла к небу.

— Полетели!—слышится из кучки зрителей вздох глубокой зависти.

— Рожденный ползать, летать не может, — нравоучительно иронизирует жизнерадостный мужчина, увешанный брелками, украшенный кольцами, перстнями, безукоризненно одетый, с прекрасными манерами.

Он провожал кого то из пассажиров Юнкерса. Поманил рукой автомобиль, вскочил и «полетел».

Возвращаемся в город.

— Милые граждане, купите пожалуйста коробочку ваксы,—просит прохожих женщина с темным от зноя, пыли и усталости лицом.

Вот эта не полетит. С полдюжиной коробочек в коленях сидит она прочно на панели. Возле нее крепко спит ребенок лет пяти. В руке ребенка зажат огрызанный хвост воблы.

Происшествие с ребенком.

На платформе толпа. Мешки, корзины, сундуки. Двигутся в разные стороны, толкают, бьют. Владельцы кричат, галдят, ругаются, зло блестят глазами, тычут кулаками, локтями, ногами—чем придется, лишь бы пробиться скорее к вагону.

Говорят, это поведение вполне естественно, понятно: все мы устали, измучены, с надорванными нервами. Сдержанность, хладнокровие неестественны, ненатуральны.

Но вот перед нами суб'ект сверх'естественный. Это ребенок, девочка лет десяти-двенадцати. Скупые вокзальные огни освещают фигурку в дырявых валенках. Голова обмотана половиком, не то тряпкой—не разберешь. Голые пальцы рук от мороза красны. Она совсем зазябла—это видно по скрюченной спине, по глазам, в которых горят детские слезы.

Мешки, корзины и узлы швыряют фигурку. Естественно—злобные пассажиры не замечают ребенка, который сверх'естественно смирно переносит пинки: молча, терпеливо. Ребенок понимает—взрослых не победишь в неравной борьбе на вокзальной площадке. Они сильнее, злее... натуральнее.

И естественно, и обычно происшествие с этим ребенком. Гул, шипение, пара ярких глаз подходя-

щего паровоза порождают в толпе совершенно естественное, натуральнейшее состояние обитателей зверинца, которые сбили с ног милиционеров, опрокинули загородку и с гулом, ревом, гамом устремились к подходящему поезду.

Что удивляться, если детская фигурка летит под колеса паровоза? Это естественно..

Мы в вагоне. Места заняты, мешки в целости. Начинается сверж'естественное: мирная беседа.

— Чу, девченку задавило?

— Вишь ты. Бросилась?

— Не знаю. Говорят, узлом сбили.

— Вертятся, подлые. И чего лезут?

— Говорят, мать встречала.

— Вот и встретила.

— М-да, нонче опасно. Прошлого раза жена моя целый мешок ржи просыпала из-за тесноты.

— Неужто мешок?

Неподдельный ужас в голосе.

— Мешок!—подтверждает рассказчик. — Такая жалость, выразить невозможно.

— Еще бы!

— Пять мельенов, — раздается коммерческий бас в углу.

— Вот и барыш!

— Какой уж барыш...

Девчонка забыта, вытеснена житейскими вздохами, коммерческой арифметикой. «Мельон» плотно засел в голову и место свое уступит только миллиарду. Мешок ржи дороже девчонки в дырявых валенках. Это натурально, естественно, в порядке вещей. Нижегородский базар, куда едет мешок, удесятрит «мельон». Там голодный край. Увеличить свое благосостояние на голоде—почему же не естественно?..

И уж, конечно, на «мельон» идет облава с разных сторон. На одной из остановок мирную беседу нарушает дикий вопль:

— Батюшки мои!

Что такое? Торопливо чиркают спички, загораются зажигалки, стеариновые и церковные свечи. Пассажиры с глубоким интересом созерцают живую картину. Схватившись за голову, на мешках восседает бородач с выпученными глазами, разиня рот.

— Что с тобой, дядя?

Бородач долго, тупо смотрит в пространство. Наконец, из глубины его живота вылетает стон:

— Двести сорок мельонов вырезали!

Единодушно—ах!—потрясает вагон. Как будто девчонка в дырявых валенках... виноват,—как будто мешок ржи попал под колеса.

— Что-ж это такое?—лепечет бородач расслабленным голосом.

— Уголовное преступление,—раз'ясняет из угла коммерческий бас.—Надлежит заявить в чеку.

— В чеку!—поддерживает сочный тенорок.

— В чеку!—гудит вагон.

Натуральный естественный клич: чека общепризнана, если оберегает наши миллионы. Но ежели она возьмет за ворот вот этого самого бородача, на жилетке коего толстейшая золотая цепь, а на мизинце брильянт—кар-раул, долой чеку!

— Господи, какое воровство—вздыхает толстощекая бабенка.

„Рас-сстре-ливать их, с-сукиных сынов!—возглашает весьма упитанный мужчина в теплой шубе отличного сукна и на всякий случай застегивает пуговицы.

— Это вы насчет воров-с?—любопытствует коммерческий голос.

— Ну, да,—басит шуба.—Нешто возможно, чтобы в карман допускать.

— Сушая правда-с, никак невозможно этого,—соглашается коммерческий голос...

Когда речь о карманниках, коммерческие голоса тверды и шуба кровожадна. Они не против воровства

—упаси, Боже! Иначе—было бы сверхестественно и совсем не натурально. Все операции теплой шубы, вероятно, основаны на воровстве. Какая то эманация мошенничества струится из покойных глаз шубы.

Летучий обыск по случаю пропажи миллионов укрепляет ваши догадки. „Чека“ обнаруживает под лавкой шесть четвертей спирта, упакованных любовно, тщательно, словно это грудные ребята.

— Чей багаж?

Молчание.

Спирт уносят.

-- Триста миллионов,—вслух соображает коммерческий голос.

На сей раз шуба глубоко и тяжело вздыхает. И... „очи пылают огнем“ вслед „чеке“.

Приехали. С трудом выбираешься сквозь огромную толпу, которая стремится на базар.

Базар под боком.

— Милльон!

— Тридцать два милльона!

— Пять милльонов!

— Дер-ржи, деньги украл.

— Караул!

Это бьют. За милльон бьют без пощады. Все миллионеры кровожадны.

Старая знакомка—торговля, хозяйственно расселась на базаре, опоясалась фартуком и весело облизывается, скаля длинные острые, безпощадные зубы.

Нарядная барышня, эдак лет пятнадцати, жеманно улыбаясь, пытливо смотрит и шепчет детскими губами:

— Пойдемте ко мне?

— Зачем?

— Греться... на перине. У меня очень— тепло.

Идем?

Недавно она играла в куклы, а сейчас вот играет в любовь.

Гражданин миллион сбросил ее под колеса, как и ту, в дырявых валенках...

„Людей нет“.

(К недостатку культурных сил).

Куда же скрылись „люди“-то? Ведь, они были же! В нашем городе были...

Два клуба. Один «зал благородного собрания» или «купеческий». В нем развлекалось местное дворянство, гильдии, чиновники, интеллигенция. Культура: бильярд, карты, ужин, танцевальный вечер, музыкальный вечер, любительский спектакль.

Воскресенье, понедельник, вторник, год пять лет, десять лет.

— Семь червей!

— Пас.

— Чиоэк, поставь графин в лед.

— От двух бортов.

— Эй, три звездочки и ликерцу что ли.

— Ну, а мы пивца предварительно.

Гимназическая картинка. Утро.

Первый урок—немец.

— Братцы, злой идет.

— Держись!

— Значит, в клубе продулся...

В коридоре тяжелый ступ, грозный кашель. Вошел. Измят, мрачен, в глазах зловещье. Коршуном располагается на кафедре, обводит мутным взглядом.

И вдруг:

— Апщхи!

Это чихнул гимназист. В очах немца вспышка молнии и треск грома.

— Ива—нов!

— Я—ас.

— Чихнул?

— Чихнул—с.

— Вон из класса. Ед—диницу!

Вывод: жестоко ремизился, с горя подпил, дома разругался с женой. Срывает горечь в нашей казарме... то бишь, гимназии...

В клубе гимназический вечер. Программа. Ученица 6-го класса Добросмыслева—попрыгунья стрекоза; ученик 7 класса Пряничкин—муравей; Егор Ильич Вздохов, словесник, изображает баснописца. Читают с глубоким чувством; в лицах:

— Ты все пела? Это дело! Так поди-же, попляши!

Хор под управлением молодого надзирателя острога... то бишь, гимназии. Славься, славься; Над Невою резво вьются; Боже, царя храни...

Податной инспектор Тятечкин—соло на скрипке. Мировой судья Бирюльков партию Сусанина. В первых рядах белый ремень исправника, синее сукно жандарма, огромный живот директора, предводитель, голова, предводительша, головиха, потомственные почетные, первая гильдия, вторая гильдия... уют, покой, цивилизация и чистой выручки в пользу недостаточных учеников 69 руб. 14¹/₂ коп.

А вот другой клуб назывался Собачьим. Там обитатели прикащики, конторщики, купечество помельче... В этом клубе хвастались:

— Вчера вдвоем четверть ахнули!

1904 год.

— Революция посетила и наши края,—сообщает директор экстренному заседанию педагогического совета. Наша гимназия заражена разными идеями, она—поставщик агитаторов. Мне предложено принять меры. Как быть?

-- Прошу слова'

— Пожалуйста, Иван Харлампыч...

— К-хым, кха-м... По моему, вот что: сначала необходимо оглядеться кругом, в собственной среде... кхы-м, кха-м, так сказать плевелы вырвать. Я кончил.

— Господа, Иван Харлампыч предлагает плевелы вырвать. Еще кто желает?

— А по моему, так форменные пуговицы пришить гимназистам. В штатском ходят—срам! С пуговицей на митинг не пойдешь, шалишь.

— Господа, Глеб Глебыч предлагает пуговицы пришить. Еще кто?

— Разрешите... Пуговица, господа, плохое средство. Ее можно пришить, срезать, опять пришить. Идею пуговицей не утратить. Надо разобраться, так ли плохи новые идеи и поглубже заглянуть в душу гимназиста...

— Кхы-м, кха-м, я говорю, что среди нас плевелы...

— Виноват, Иван Харлампыч, позвольте...

— Нет, вы позвольте... Я прошу такие слова в протокол...

— Так вы за новые идеи, так сказать, за революцию, господин Гусев-с?

— Я, господин директор, за справедливость. Не все новое плохо и...

— Извините, я лишаю вас слова. Надо о мерах говорить. Господа, еще кто желает меру предложить?...

1905 год.

— Господа, забастовочный комитет требует удаления многоуважаемого Глеба Глебыча. В квартирах обоих неизвестными выбиты оконные стекла. Я предлагаю принять срочные меры. Кто желает?

— Прошу.

— Говорите, дорогой Иван Харлампыч.

— Кха-м, кхмы. Как имеющий ордена и прочее, заявляю: отечество в опасности: Caveant consules! Я кончил.

— Ваше слово, Глеб Глебыч?

— Присоединяюсь к Ивану Харлампычу и поддерживаю всецело.

— А именно?

— Принять меры в отношении плевел.

1906 год.

— Итак, господа, постановлением Совета исключаются: за вызывающее поведеное Зебров, за оскорбление Ивана Харлампыча Ключкин, за нападение на Глеба Глебыча Иконин, по распоряжению жандармских властей Цепляев. Итак, я надеюсь, что порядок непоколебимо встанет на свое прежнее место.

— Кхы-м кха-м,—давно пора.

Как это в басне?

«Ты все пела?..»

«Так поди-же, попляши!..»

.....

Но какая горестная ошибка. Вновь «революция посетила и наши края». И во главе дела народного образования сейчас стоит у нас—можете представить?—водопроводчик Ключкин, которого во время оно выгнали из нашей гимназии. А Иван Харлампыч прожил свои «ордена и прочее» и настраивает рояли. Ключкин упрямо не дает дороги многоуважаемому Ивану Харлампычу, зато Глебу Глебычу вверил соцвос. Глеб Глебыч выдумал талантливейший проект. В городе восемнадцать детских домов. Чтобы во время всенародных торжеств—например, в день Парижской коммуны—возможно было в манифестации отличить детей дома № 2 от детей дома № 9, Глеб Глебыч придумал заведующих домов обрядить в костюмы, отличительные для каждого дома. Как известно, заводы во время манифестаций следуют со знаменем впереди детей и по нарядам можно сказать, что вон за человеком в белом следует № 5, за человеком в зеленом идет № 11, а за человеком в желтом № 19—и т. д. Но в наше время нельзя, например, обязать учащихся пришить светлые пуговицы, хотя бы потому,

что металлические пуговицы пропали с рынка. И если довольно затруднительно отыскать в природе восемнадцать разных цветов (по числу завдомов), то совсем легко в учреждении открыть праздные излишки мануфактуры...

Как видите, в материалах нехватка, а культурные люди, Глебы Глебычи, не перевелись еще.

Но, увы, все поиски материалов оказались тщетными. К тому же и водопроводчик Ключин проект Глеба Глебыча осмеял и отверг. Развернись вот!.. А жалуются, что людей нет.

„Что новенького“.

На три квартиры покупаем одну газету, из экономии. Читаем вместе, вечерами, вслух. Потом обсуждаем,— вот вам и политический клуб.

— Ну-с, что новенького?— спрашиваем очередного чтеца.

— А вот сейчас. Передовую не читать, конечно?

— Не надо.

Мы приверились к передовой. По каждому случаю она долбит в наш мозг: международная революция. Извините, это скучно. Нам подавай „новенькое“ и каждый раз свежее. Но—ах!—мы не испытали только падения неба на землю; иным, из ряду вон не выходящим, нас не удивишь. Мы обтерпелись, окрепли душой, многое вынесли-перенесли. Поэтому пустяками нас не прошибить.

Например. Мужик из Поволжья (извините за скучный пример) зарезал сына, сварил из него похлебку и с'ел. Что особенного тут?

Мальчишка, поди:

— Тятенька, миленький, пожалей, не режь!

А мы нашему чтецу:

— Слыхали об этом. Что там еще, дальше читай.

Выходит, был Ванька, а стала говядина! Вместо Ваньки-то! Ну, и что ж? Ну, и говядина. Только

меня самого в горшок не кладите. Словом, на одно ухо я совершенно оглох. Зато другое ухо...

— С августа цены на мануфактуру будут повышены на 50 процентов.

— Позвольте, погодите Петр Ильич. С августа, а нынче у нас двенадцатое июля?

— Да. А что?

— Ничего, я так, для памяти. Дальше пожалуйста.

А дальше следуют скучнейшие сообщения о министерских кризисах в Германии, о забастовке углекопов в Англии, об ирландском восстании и еще чтонибудь в этом роде. Либо длиннейшая телеграмма об открытии Каширской станции. Что это, куда, кому, зачем нужно?

— Пропустите эту страницу, Петр Ильич. Происшествия какиенибудь есть?

Чорт возьми! Хоть бы город какой что-ли для разнообразия провалился сквозь землю.

— Минувшей ночью неизвестными злоумышленниками с целью грабежа вырезана семья в 8 человек, из них четверо детей.— возглашает Петр Ильич.

— А что, господа, не приобрести ли нам на двор собаку, — неожиданное предложение вносит Семен Петрович.

— Зачем?

— Для безопасности. Смотрите, как других режут. А с собакой надежнее.

— Действительно, это идея! — поддерживает Матвей Павлыч.

Мы начинаем обсуждать собаку.

Нашествие иноплеменное.

Не подумайте, про Керзона. Проще.

Действие в пригородной деревне. Зной и духота. На обед мужики попрятались в избы. Скотина мычит в хлевах, куда укрыли ее от ехидных мух.

Пустынной улицей бредет мужчина в рыжем подряснике. Соломенная шляпа бадейкой. В правой руке ведро, в левой корзина.

Простоволосая баба вышла из дома за водой на колодец, посмотрела на странника и с криком — «батюшки, попы!» повернула в испуге назад и скрылась, хлопнув воротами.

В тени мохнатой старой ивы мы с Яковом наблюдаем за путником.

Яков бездельный мужик. У него пала лошадь. Он продал корову с овцами и купил другую. Новую лошадь угнали цыгане. Яков упал духом, махнул рукой на хозяйство и живет через пень-колоду. Все равно не вылезешь из нужды. Он ловит рыбу, которую продает на базаре, иногда батрачит, а чаще бьет баклуши, с Сократовским терпением перенося за это жестокую брань своей Анны, в ожидании лучших времен.

— Вот хвабрики запустят, тогда оштапоримся.

Прохожий в рясе остановился у окна крайней избы. Постучал в раму:

— Хозяева!

Огненно-рыжая голова Никиты высунулась по плечи на волю.

— Чего тебе?

— За Петровками,—басит подрясник.—От Рождественского причта.

— Гм,—крякает Никита.

Минуту размышляет, кряхтит, чешет бороду и, покрутив головой, исчезает в окне.

— Носит вас нелегкая,—долетает из избы его недовольный голос.—Марфа, давай что-ли...

Немного погодя из окна высовывается узловатая рука с чайной чашкой. Странник выливает в ведро из чашки сметану, вычищая посудину указательным пальцем, который потом с аппетитом облизывает.

— А яичек? —ласково говорит он в окно.

— А вот это видал, отец дьякон?—доносится из избы хмурый голос и в окне появляется красноречивый кукиш.

— Тьфу, — плюет дьякон и направляется к следующей избе.

Снова стук в раму:

— Хозяева, а хозяева!

— Любят сметанку,—насмешливо бурчит Яков, подкашливая.

На улице еще фигура. В одной руке ведро, а в другой корзина. Такой же подрясник. Над головой парусиновый зонт. Лицо веселое, открытое. Дружелюбно кивнув в нашу сторону, подходит к Никитовой избе.

— Эй любезные,—кричит звонким тенором.

Никита высовывает голову.

— А тебе что?

— Бог милости прислал,—сообщает гость.

Никита сбит с толку, подозрительно смотрит на вестника высокой милости. Угрюмый вопрос:

— За Петровками?

— Обязательно,—утешает гость.—Не приди, ведь обидишься, а?

Никита шумно вздыхает на всю улицу:

— Корова не доит, куры несутся плохо. Сами без молока...

— Мне молока не надо. Дашь сметанки малость, да пяточек яичек и довольно.

— Любишь сметанку?—ядовито окрикает Яков, не в силах сдержаться.

— А ты не любишь?—весело парирует владелец зонта.

— Марфа, дай что ли этому,—зло говорит Никита, смотря через плечо в избу.

— Носят их черти!—слышится бабий голос.

Через некоторое время зонт белеет у следующей избы, а к окну Никиты приближается третья фигура в таком же облачении, с ведром и корзиной.

Никита с треском закрывает окно. Тщетны все усилия достучаться.

— Почтенные, где же хозяевы?—недоумеваает фигура, обращаясь к нам.

Трансформация.

Пожалуйста не подумайте, что из области естествознания. Гораздо проще.

Мы на собрании живой церкви.

Румяный, плотный старичек с крестом на груди и вдохновением в глазах докладывает:

— Христос был коммунистом. Надо следовать его заветам. Церковь следует подвинуть ближе к жизни. Ныне власть трудящихся и с ней надлежит быть в контакте, потому что Христос был за трудящихся...

Знакомый голос. Знакомые жесты. Кто это? Ба, помню!..

Давно тому назад, в духовном училище, отец Назар исповедывал меня в страстную седмицу.

На левом клиросе аналой, крест. Батюшка смотрит прямо в глаза, так что со страха ноги подгибаются.

— В Бога веришь?

— Верю.

— В постные дни молоко хлебаешь?

— Хлебаю.

— Вот, погоди—на том свете тебе пропишут молоко! Табак куришь?

— Маленько.

— Ах, свиненок. Курит, да еще рассказывает про это. Ну, погоди—ужо зрителю доложу... Ленишься?

— Ленюсь.

— Вишь, какой! Ну, а еще что? Говори грехи... Сколько тебе в четверти я вывел по Закону Божию?

— Тройку.

— Больше не стоишь... Чего глаза выпучил? Говори, какие еще грехи.

Полный глубоко раскаяния, я в отроческом экстазе решаю открыть самый ужасный грех, который камнем давит мою разбойничью душу.

— Помните, отец Назар, вы в саже измазались после уроков? Так это я сделал... грешен. Вы задали наизуст 45-ю кафизму, а у меня зубы болели... грешен... я не вру. А вы мне единицу и без обеда оставили. Я рассердился... грешен... и на другой день вам в шляпу печной сажи насыпал. Грешен, отец Назар... больше не буду никогда... ой, больно!

Отец Назар толстыми пальцами закрутил мое ухо и потянул кверху, так что я поднялся на ципочки. Потом за ухо нагнул голову к полу, так что я присел на корточки. Прделав такую гимнастику несколько раз, я услышал гневный, сдавленный шопот духовника:

— Марш к инспектору, чертенок! Скажи, чтобы запер тебя сию минуту под замок. Ах, Иуда нечестивый! Ах, мерзавец шелудивый!

Через полчаса я проливал горькие слезы, запертый в классе и кулаком грозил иконе в углу.

А сейчас вот слушаю бодрые, революционные слова отца Назара:

-- Церковь не должна быть врагом трудящихся. Сказано: отдай последнюю рубашку...

Впрочем... Впрочем, извините, отец Назар. Кто старое помянет, тому глаз вон.

На празднике.

От Никагора Иваныча получил приглашение на свадьбу: сына женит. Отказываться нельзя—Никанор не раз пенял на гордость.

Никанор из тех хозяйственных мужичков, которые за время революции быстро пошли в гору. Страдая жестоко от голодовки, город устремился в деревню за хлебом. Пришло время власти земли. Никанор быстро это учел и навалился на землю в тоске о наживе и барышах. Он не слышал радостной болтовни пасхальных колоколов, не замечал красок лета и в каком то исступлении пахал, боронил, сеял, собирал, отравленный думами о богатствах, которые нес город в обмен на хлеб и картошку. Стожильными трудами своими и семьи, которая едва поспевала за ним, Никанор добился своего. Он начал богатеть.

Управившись с полем, Никанор спешил в лес за дровами,—город страдал также от холода. Зимой Никанор кружил по базарам и глухим углам, скупая, меняя, перепродавая и проклиная заградительные отряды, которые изрядно мешали его предприимчивости.

В какиенибудь два года неутомимый Никанор превратился в Никанора Иваныча. С ним охотно пу-

тались темные городские дельцы и советские специалисты из тех, которые бесхозяйственностью революции воспользовались, чтобы «не опустить что можно».

Сел в присланный тарантас, поехали. Правил Васька, младший сын Никанора. В новой ластиковой рубашке, в новом картузе, новые штаны, новые сапоги—красавец! По случаю семейного торжества в зубах у Васьки не крючек, а папироса.

Ему всего тринадцать лет, а он уже отъявленный табашник и ужасный матерщинник. Дорогой на все падежи склонял мать старого мерина и, кажется, очень гордился своим мастерством.

По крайней мере двадцатый раз, скомбинировав в одной фразе мать, печенку, селезенку и душу, он с торжеством оглянулся с козел, чтобы выяснить мое настроение. Я поморщился.

— Не хорошо, Василий, мальчику срамиться.

Тонкая усмешка мелькнула на его устах.

— Теперь даже попы матюгаются,—сказал он.— Жизнь такая.

— Какая?

— Тяжелая, вот какая, — трехэтажно пояснил Васька.—С надсады ведь лаешься.

— Тебе то какая надсада?

— Эвона,—свистнул Васька.—С мое хребтину поломай-ка. Яровое кто поднял? Я!

— Все?

— Ну, не все, а досталось.

— А отец с Петрухой что?

— Пили. По деревням гоняли, невесту богатую искали и везде перегонку лопали. Зато невесту отрыли. О-о-о-о!..

Васька блаженно зажмурился и сладострастно зачмокал губами.

— Хороша?—спросил я.

— Страсть! Буфера—во! словно каравай.

— Васька, да как тебе не стыдно?

— Чего стыдиться?—бесстыже оскалился он.— Нешто я не человек? В Африке такие, вроде меня, женатые.

— Выдумывай сказки.

— И не сказки. Нам Прохор говорил. Он везде в плену бывал. Нагляделся.

Из его болтовни я убедился, что Прохор успешно цивилизовал Васькину деревню и посвятил ребятишек во все детали блуда с которыми познакомился, воюя во Франции, сражаясь за французские виноградники, сберегательные кассы и европейскую культуру.

Приехали в деревню.

Большая толпа галдела у Никаноровой избы, из окон которой неслись крики, вой гармоники, визг граммофона. На лужайке перед окнами происходили танцы под гармонь и скрипку.

Рослый детина в штанах пузырями (галифе) гонялся за девушками, дрыгал ногами и пьяным, истошным голосом вопил:

— Мадемоазель с шевалье. Пожалста, екуте моа. Же ву зан при убедительно. Господа, сиянс. Мюзик, дьяволы вы эдакие!..

С трудом узнал я в нем Прохора, который из застенчивого когда то парня, превратился в столь пленительного кавалера. Заметив нас, он вытаращил глаза, остолбенел на минуту, потом заворочал усищами и заорал:

— Парблём, мать твоя подкурятина. Готфердаммих! Кого вижу! Кель онёр. Мадемоазель, шевалье, бабы—сюды, ко мне. Качать его, буржуя!

Через минуту я проклинал свое путешествие, при дружном грохоте толпы, летая меж небом и землей,

А потом Прохор под ручку ввел меня в жаркую избу, пробрался в передний угол к молодым и представил невесте:

— Воаля! Мон ами. На охоту, бывало, вместе ходили, казенный лес по ночам воровали. По такому случаю а вотр санте.

— Он налил две рюмки, хлопнул сам, заставил меня выпить, галантно чмокнул невесту в ручку и, обдавая перегаром, зашептал мне в ухо.

— Хороша, ягодка, а? кабы нам с тобой сорвать такую? Эх!.. Ну, погоди. Я тебе такую кралю разыщу сегодня!..

И к общему веселью через окно полез к танцующим.

Молодая, верно, хороша. Отлично сшитое дорогой портнихой платье облегалo стройное без корсета тело. Брошка с крупным бриллиантом на груди, тонкая золотая цепь часов. Серые большие глаза смотрят задорно и умно, как бы спрашивая:

— Чем я хуже ваших пудренных барынь в городе?

В новом пиджачном костюме Никаноров сын вовсе не похож на деревенского парня. Вероятно, по примеру Прохора, он целует руку своей соседки, когда кричат горько, но делает это просто и мило, не ломаясь.

У Никанора изба самая обыкновенная, деревенская. Я помнил ее черные углы. Закоптелый потолок, ленивые тараканы в щелях, картины страшного суда, генерал на коне и еще что то, приклееная к стене мякишами хлеба.

Все это пропало. Изба раздвинулась, стала выше, светлее, наряднее. Потолок выскоблен до бела, стены вымыты, тараканов нет, нарядные занавески на окнах. Не видно застарелой паутины в углах, а генерал и страшный суд исчезли. В раме за стеклом пейзаж, рядом купальщица и карта России, приколотая гвоздиками. Какой то непривычный для мужицкой избы уют чувствовался здесь.

— Что головой вертишь?—усмехнулся подвыпивший Никанор.

— Хорошо у тебя стало. Чисто и приятно.

— Вишь, ты. Что же мы не люди, по твоему?.. Подь-ка сюда вот...

Он повел через мост в горницу. Там тоже пировали. Но я сначала не заметил гостей, пораженный обстановкой.

За кокетливыми ширмами ореховая кровать с белоснежным бельем. По стене диван. над которым огромный палас. По другой стене комод. В углу буфет. В другом углу мраморный умывальник. Все это,— как и мягкие. и венские стулья,—расставлено словно в мебельном магазине, на продажу, для выставки. С потолка бронзовая лампа на цепях освещала комнату, гостей, горели золотые оклады икон.

— Ну, что? и самодовольно прищурился Никанор.—Похоже на город? Только вот (глубокий вздох) лектричество бы и совсем ладно... У меня в сарае еще добра много. Да Ольгино приданое. Знаешь? А ведь надо дом новый рубить. Двухэтажный и с мизимином.

— Разбогател?

— Ладно уж,—уклончиво сказал Никанор.—Ты вот лучше садись с хорошими людьми. Пей—ешь. Поди, отощал на харчах у товарищей.

В избе угощалась, видимо, близкая родня. В горнице пировала деревенская знать. И там, и здесь на столах было великое изобилие. Но в горнице и посуда была лучше, и кушанья изысканнее.

Оно и понятно: здесь сидели волисполкомские власти, духовенство, сельские богачи с женами. Что это богачи, заключить можно по толстым цепям часов на жилетах мужчин и тяжелым браслетам их дам.

Мне почудилось, будто я не в России, а гденибудь во французской деревеньке, у фермера. Глубокая

важность Никанора Иваныча гармонировала с чинной солидностью гостей.

Здесь были мои когда то добрые знакомые и ни в одном я не узнавал былых Матвея, Степана, Дарью. Их словно всех подменили, или это причесанные мужики ходульной немецкой пьесы. Манера разговора была новая, незнакомая. Вот тетка Дарья явно старается быть купчихой и, не взирая на духоту, кутается в теплую шаль. Егор Павлыч, у которого круподерка, напоминает лабазника, пускает в оборот словечки вроде —камерция, анициатиф, профит, сальдо. А попы совсем не те. Былая покровительственность в обращении с мужиками пропала. Наоборот, зависть и робость, пожалуй, чувствовались. Отец Исай явно лебезил перед хозяином, вслух, шумно, искусственно выражая крайнее изумление Никаноровым умом, достатками. Дьячек Евлаша улыбался с собачьей преданностью,—курил, пуская почему то дым под стол, кашлял в ладонь и только не вскакивал при словах Никанора.

Точно желая подчеркнуть свое отличие от попов, волисполкомцы держались сугубо с достоинством.

Ели мало, пили основательно. Бабы не отставали.

Желая окончательно раздавить меня своими сокровищами, Никанор притащил из избы граммофон, завел и, когда из трубы загремел неумирающий Мефистофель, Никанор крикнул, наклоняясь ко мне:

— Ловко? Хороша штучка, а? За пятнадцать мер картошки подцепил. Я тогда, друг, Миколу угодника вместе с маграфоней приобрел. Вон того, золотого. У меня, друг, теперь четыре угодника, три Спаса Нерукотворных, да небели сколько хошь. Слава те, Господи,—хапнул на свой век. Одних самоваров четыре самовара, а посуды этой самой, а одежи!

Хмелея от вина и сознания своей мощи, Никанор стукнул себя в грудь и скомандовал:

— Евлампий, катый многолетие!
— С-сию минуту,—с готовностью вскочил дьячек, поспешно глотая груздь.

Он вытер мокрые усы ладонью, выпятил грудь колесом, откашлялся и раскрыл рот...

Но неожиданно последовало вмешательство власти.

— Не смей!—выпалил пьяный председатель.— Запрещаю!

— Как это так?—растерялся Евлаша, пугаясь начальства и желая угодить хозяину.

— Нельзя, — отрезал председатель, любясь эффектом своих слов.— Контреволюция и кощунство. Законом не дозволено многолетие в избах. Церковь для этого отведена, а изба в государстве.

— А изба причем тут?—изумился Евлаша.

— А при том, что изба от церкви отделена. Изба—государство, которое церкви в себе не допускает. Понял?

— Понял,—уныло ответил Евлаша.

— И шут с твоим государством, — вмешался Никанор.—И не надо мне никакого многолетия. Пей—ешь, Евлампий!

Номер не состоялся и Евлаша покорно начал истреблять грузди, колбасу, селедку, чередуя все это выпивкой и чаем с молоком.

.....

.....

Пировали до изнеможения.

Под утро изба и горница напоминали шабаш ведьм. Бабы пронзительно визжали, мужики подвывали, граммофон чередовал «Иже херувимы» Бортнянского с арией Вяльцевой и Марсельеза следовала за Ванькой ключником.

При восходе солнца с великим трудом выдворили гостей из горницы, чтобы дать покой новобрачным.

В ближнем селе звонили к обедне. Я курил на крылечке, ожидая лошади. Из избы доносился могучий храп гостей, которые легли костью под столами.

— И куда те черти несут?—ворчал Васька, возясь с дугой.—У людей праздник, а он точно на смех.

— Нельзя, Вася, мне дольше...

— Нельзя, нельзя,—передразнил Васька. — Отдохнул бы на сеновале, а потом опять гулять. Оставайся.

— Едем.

Слегка покачиваясь, (он тоже хватил изрядно) Васька вскарабкался на козлы. Я полез в тарантас.

На повороте к полю, у большой дороги, которая вела в село, нам повстречался рыжеволосый парнишка. Он бежал во всю прыть и рубашка от ветра вздувалась пузырем на спине.

-- Васька, скоро ли попы?—крикнул он сочным альтом.

— А тебе зачем?—спросил Васька.

— Обедню служить. Велели звонить, а самих нету.

— Так они же пьяные все,—засмеялся Васька.— В омшаннике у нас спят.

— Милые, как же обедня?—испугался парнишка и вытаращил глаза.

— А ты сам отслужи, эка невидаль, — посоветовал Васька, стегнул мерина и покатыл к городу.

В давнем сене свенни и довержились, на
красные ожиды дожда. На нды дождика мот-
ляв хвад лотей, которые перля косям под столяникоу
Н муса те перля моту? — корья: Вася, во-
жес с дтоу. У людей празаняк, а чон тично на
СМЕРЬ...

— Нелая, Вася, мне долина...
Нелая нелая, — перваряна Вася, — О-

жонку он на сеновал, а потом одатт туват. Оты...
Вася, туват, — моту... —

— Едем...
Одотта доканьяе, (он тоже хвад нелаяно)

Вася всерабялся на косяк. В нелаян в курантасе,
На повороту и нелая, у бонмай, додол, которе,
для вода в сено, на, повортенасе, перваряна перваре

нишка. Ен-бежка, во всю притык, рудаян, от ветра
вдуваласе пухом на спине, — вот нелая —

— Вася, скоро ли попы-кранья он сонит?
Вася...
— А тебе завет, — спросил Вася...
Однюю службу. Велли свенит, а свенит

— Так они же пинные все, — засмеялся Вася...
В омшаннике у нас спит.

— Милые, как же оденя? — ну, ну, ну, — перваряна
и вытаплил таз.

— А ты сам отсужи, жва невидаль, — посков-
това Вася, стелнуд мейна и похвятил к тору.

Вася, — моту...
Вася, — моту...
Вася, — моту...

Вася, — моту...
Вася, — моту...
Вася, — моту...

Вася, — моту...
Вася, — моту...
Вася, — моту...

Вася, — моту...
Вася, — моту...
Вася, — моту...

СВЯТОЙ КЛЮЧ.

Село на берегу большой реки. На другой стороне реки. На опушке реки великой старица.

Много лет тому назад в село пришла холера. По домам мушкетеры вымерли, другие приготовились к смерти.

III. На старые темы

«Святое предвещало его святости. И святое, и день четвертого спаса, крестьяне ходят на реках мушкетеры мушкетеры у ключа.

Ключ обветшал досчатый трехстенный с крышей. На стенах видны карнизами и углы многоцветные и многоцветные. Села с ключом обветшало по округе, достигла до города.

Читаем:

«Надежный советник Засылкин написал и уронил с дочерью Елисаветой».

— «Одобрено благочестия, Мельничий начальник Кустяковский».

— «Я, тоже одобрено. Инспектор народных училищ Опротолов».

— «Хорошая вода, Формоза Водякова, вода destillata».

III. На члбдпвс 16MPI

Святой ключ.

Село на берегу большой реки. На другой стороне роща. На опушке рощи лесной ключ.

Много лет тому назад в село пришла холера. Половина мужиков вымерла, другие приготовились помирать, как вдруг пастух об'явил, что ежели пить воду из ключа, холера не берет. На лодках начали ездить в рощу за водой, и холера остановилась.

Тогда мужики об'явили ключ чудотворным, духовенство предложило его освятить. Ежегодно, в день второго спаса, крестным ходом на плотях мужики молебствуют у ключа.

Ключ обнесен досчатым трехстенком с крышей. На стенах надписи карандашем и углем многочисленных паломников. Слава о ключе обошла по округу, докатилась до города.

Читаем:

«Надворный советник Засыпкин напился и уверовал с дочерью Елисаветой».

— «Одобряю благочестие. Земский начальник Кустьяповский».

— «Я, тоже одобряю. Инспектор народных училищ Опрокидов».

— «Хорошая вода. Фершал Вздохов, *dqua destillata*».

- «Вкусил протоиерей Чаплинский Василий».
- «Смиранный Павел Груздев последовало па-
стырю, облегчение в желудке явное. Аминь»
- «Проездом напился агроном Поваренкин».
- «Приидите, пиво прием новое. Диакон Прахов».
- «Опишу чудо в газетах. Страховой агент
Ершов».
- «Черти, вода, как вода, а река была зараз-
ная, но ключ—нет, вот вам и чудо. Посему плюнул
в святой колодец. Семинарист атеист».
- «И я плюнул».
- «За кощунство—в рожу. Ротмистр Польша-
лов».

— «Присоединяюсь».

— «Долой самодержавие!».

Бархатный колокол.

А хороший у нас колокол. В мороз на сорок верст кругом слышен его мягкий, печальный, ласковый ропот. Бабы в деревнях лампы зажигают, когда соборный колокол к рождественской заутрени зовет..

Мощный звон и задумчивый.

Купили этот колокол наши купцы. Кто умеет богу угождать, кроме купечества? Только у купечества столько усердия, чтобы позолотой покрыть купола нашего соборного храма.

Гарька Кривой, который на соборной паперти собирает, норовит на косушку выпросить. А купечество наше натужилось и купило колокол в две тысячи пудов. Гарька Кривой костляв, коленки дрожат, в глазах гной, в седой бороде вши ползают,—так это потому, что Гарька колокол наш матерными словами ругает. Когда мерный рокот звучной меди упадет в городские улицы, Гарька сморщится, заскрипит гнилыми зубами, за живот схватится, словно горячий уголь проглотил:

— У-у, мать твою...

Но когда то Гарька Кривой из реки наш колокол вытащил. Поэтому Гарьку на паперть собирать допускают.

Около церкви Покрова пресвятой богородицы купцы ночлежный дом построили. В нем бесплатно ночевали коты, пропойцы, пропащие люди... всякая сволочь, которая работать не любила, милостыню сбирала и таскала зубами гвозди, что веселые господа в трактирные стулья заколачивали. Ведь, в нашем городе скучная жизнь была для образованных людей: шесть дней служили, по субботам в бане мылись, в воскресенье утром в церковь, а вечером в трактир, где коты за рюмку керосин пили, окурки ели, собакой лаяли, кошкой мяукали,—что прикажете, то и делали.

Странные люди были эти коты. Постоянной работы не любили, а за полбутылку столько в день делали, что настоящий человек в неделю не осилит. Бывало, машину на фабрику пришлют. Кто втащит машину на третий этаж? Конечно, коты. Рано-рано утром впрягутся в веревки, на плечах везут машину к фабрике, а вечером в потычку пьяны: хозяин-фабрикант за работу каждому двугривенный.

Когда наш бархатный колокол из Москвы на вокзал привезли, церковный староста собора послал за котами. Было это за три дня сочельника, а купцы желали, чтобы в рождественскую заутреню новый колокол звонил.

Тогда Гарька был молодой, веселый. Плечи широкие, грудь колесом, в глазах огонь, на губах пламя. Выгнали с фабрики за озорство, пришел в ночлежный и стал коноводом. Двести десять котов перед домом соборного старосты, купца Духова. Впереди всех Гарька.

— Ребята, требуется колокол на собор втащить.

Гарька за всех:

— Мы это можем!

— Две тыщи пудов, братцы!

— По три возили...

— Почем возьмете други? Чтобы к заутрени спроворить?

- Бутылку в день, ваше степенство.
- Братцы, церковь разоряете. Двести душ, двести бутылок, десять ведер... У нас чудотворная... скиньте!
- Никак невозможно. Федот Петрович. Бутылку на брата.
- Братцы, полбутылку... для чудотворной.
- Несогласны.
- Дорого, братцы. Три дня, три бутылки, без мала четверть. Скиньте для праздника, день-то какой.
- Нельзя, Федот Петрович... Со вчера маковой росинки не было.
- Бога нет в вас, братцы. Две бутылки за три дня, согласны?
- Гарька за всех:
- Три!
- Староста грозит пальцем:
- Для бога, братцы. Одумайтесь.
- Гарька со вздохом:
- Грешники мы, Федот Петрович... других ищите.
- Староста укоризненно трясет пышной бородой:
- Не стыдно... для владычицы постарайтесь? Побойтесь бога!
- Невозможно, Федот Петрович. Для ради праздничков не скупитесь.
- Ну, чорт с вами! Жрите! На том свету взыщется с вас...
- Покорнейше благодарим. Задаточек нельзя? Для храбрости...
- Сколько?
- Полдиковину на рыло, Федот Петрович...
- М-мм, значит двести полдиковин, сто диковин, пять ведер. Так, что ли?
- Покорнейше благодарим... братцы, ура, Федот Петровичу!
- Двести десять глоток:
- Ур-рры-а!
-

На боках огромного колокола изображены: Георгий Победоносец, разящий змия копьем; Тайная вечеря; Вознесение Господне.

Двести десять глоток ревут:

— «Д'мы хозяину уважим,

«Девоч наших всех покажем!»

— Не охальничать!—командует церковный староста, бегая около котов.

Снег скрипит под вальками, по которым ползет колокол. Тысячи зрителей смотрят на котов в дырявых валенках, в худых сапогах, в башмаках без подметок, в разодранных пиджаках, картузах без козырьков, простоволосых, красных от мороза и веселых от хмеля. Веревки путали тощие плечи, спины согнуты, головы к земле...

— Д'Катка, дура, не ломайся,

«Даст хозяин на орехи»...

Дорога к собору через реку. Мост ветхий, поэтому колокол тащат по льду, покрытому досками, бревнами. Лед трещит, полиция разгоняет зрителей, начальство волнуется, коты устали, посредине реки останавливаются и в тот же момент в разные стороны бегут от колокола. Щепая доски, ломая лед, топя бревна, медная громада исчезает в продавленной спине реки.

Гарька, конечно, впереди котов, с которыми ругается староста.

— Дьяволы!

— Зря, Федот Петрович,—хладнокровно возражает Гарька.

— Нажрались винища, вот и наказал господь!..

— Мы свое пили, Федот Петрович.

— Нырять надо, за ухо зацеплять. Черти!

— Нырнем, Федот Петрович. Зацепим.

— Ну, и ныряйте!

— И нырнем.

Гарька весел, как всегда. Картуз на затылке, руки в боки, от рожи хоть прикуривай—такая красная.

— Как же ты нырнешь? Зимой-то?
— Нырну!
— Нырнешь?
— Нырну!
— Зацепишь?
— И зацепить можно!
— А ежели не зацепишь?
— Другие зацепят.
— Зацепим,—гудят коты, облизываясь.— Главное, чтобы самогрей был. Простынешь без самогрея.

— Без самогрея невозможно, — подтверждает Гарька.—Дух захватит.

— Сколько же вам этого самогрея потребуется?

— Две чашки в раз, Федот Петрович,—соображает Гарька.—Чашку туда, да чашку оттуда.

— А сколько это чашек будет?

— Мудрено, Федот Петрович. Можно с двух чашек зацепить, а можно и опустить..

— Разоренье с вами,—горько вздыхает староста.—Ведро хватит?

— Не знаем, Федот Петрович. Мудрено!..

— А без винища никак нельзя? Для бога, ведь!

— Дух захватит, Федот Петрович.

— Не дух у вас, а смрад греховный. У бога отнимаете, идолы! Ведро почем нонче? Девять рубликов.

— Восемь с четвертью, Федот Петрович. Дешевле колокола...

— Лопайте, ежели креста нет!..

На мосту, на берегах толпы любопытных. На плоту, у свежей полыньи, кучка котов. Церковный староста в теплой шубе зорко следит за Гарькой, который жадно пьет чашку водки, сбрасывает с голого тела чужой тулуп и бросается в ледяную воду, держа в руке веревку с толстым крюком на конце.

— Сорвалось, Федот Петрович,—стуча зубами, говорит он, через минуту карабкаясь на плот.

Коты набрасывают на приятеля тулуп. Гарька вопросительно смотрит на старосту.

— Еще чашку?—хмурится староста.

— Замерз, Федот Петрович.

— Вторую четверть пьете, а толку не видно,—упрекает староста.—Бога не боитесь, вот что... Ведро-то нонче почем?

Коты сконфужены. Гарька обидчиво возражает:

— Может, сам нырнешь, Федот Петрович?

Коты прыгают в воду по очереди. Староста поминутно наполняет чашку и сердится. Мост и берега недовольны котами, выражая свой ропот негодующим гулом. Когда, наконец, Гарька в пятый раз прыгает в полынью и торжествующим криком извещает об удаче, тысячи людей на мосту и на берегах обнажают головы, а церковный староста широко крестится:

— Зацепили! Слава тебе, господи!.. Слава тебе, господи! Слава тебе, господи!

В рождественскую заутреню мягким молотом ковал новый соборный колокол. Небо было темно-голубое, в нем горели желтые свечи-звезды и набожно крестились наши благочестивые горожане:

«Слава в вышних богу!»...

А одиннадцать котов-пропойц, в их числе Гарька, без памяти лежали в это время в земской больнице. Гарька бредил:

— Федот Петрович, еще чашечку... одна утеха наша... чашечку, Федот Петрович.

Десять котов так и не услышали бархатного колокола: померли. А Гарька выздоровел.

На военном положении.

Крохотная парикмахерская в одно окно. На мокром подоконнике зябнет тощий воробей в деревянной клетке. Хозяин, такой же тощий, как воробей, стоя на ципочках, шелкает ножницами нзд головой грозного старика в фланелевой рубаше.

— Только бедность твою жалея и стрижку произвожу—сурово басит старик,—По нонешним тяжелым временам одни фабриканты могут эту роскошь себе позволять. Понял?

— Покорнейше мерси,—признательно улыбается парикмахер, показывая черные зубы и бледные десны.—Я ваши слова, Филип Филипыч, в совершенстве постигаю.

— Не очень постигаешь... Про деньги за помещенье третий месяц твержу, а ты на манер глухого. Не по закону так-то, Константин.

— Обстоятельства ремизят, Филип Филипыч.—горестно вздыхает парикмахер.—Заработки были—я завсегда в аккуратности платил вам. Фортуна гадит мне.

— Не фортуна, а вон та пакость тебе гадит,—глазами показывает старик на воробья.—За помещенье не платишь, а птицу содержишь. К чему она тебе? Лишний расход только. Ей тоже харч требуется.

— Она не обременяет меня и даже некоторым образом развлекает,—робко возражает Константин.— Копейка на крупу не составляет дефицита... А птичка почирикает за это.

— Не время чирикать, работать надо. Другие день и ночь стараются, а ты с воробьем чирикаешь. Вот и питайся крупкой.

— У других места бойкие, Филип Филипыч. Народу здесь прохожего бывает мало. Глухо в нашем переулке. Меня почтальон с письмом по три дня ищет, где же посетителю мое заведение приметить.

— Помещение мое, следственно, не нравится?— грозно хмурится старик.—Поищи тогда другого себе. Сделайте одолжение, хоть сию минуту.

— Что вы-с,—пугается Константин.—Я не в смысле помещения, а так.. вообще. Раньше у меня посетитель положительный был, с ежемесячным жалованьем, и каждую субботу перед баней три гривенника оставлял. Теперь же на войну все уехали, а кто остался—в кредит больше стригутся.

— А ты не доверяй.

— Нельзя в коммерческом деле без доверия. Потом иные, по случаю военных действий, экономию наводят. Конторщик Мосей Ильич, например, прежде дважды в неделю брились, а сейчас бороду отпустили. Каждый гривенник, говорят, блюсти надо сейчас, к бороде же привыкнуть можно.

— Правильно.

— Для кого правильно, а для меня убытки,— скорбно вздыхает Константин.—Сегодня из публики только и есть, что вы.

— Бедность твою только жалко, а то и я не пришел бы. Сердце у меня доброе. По моему, лучше милостыню не подать, а бедному человеку помощь оказать. Однако, крупки на копеечку приобретешь..

Настает короткое молчание. Константин с унылым видом приглаживает щеткой волосы на висках старика.

— Духами попрыскай,—приказывает Филип Филипыч, закручивая усы.—Сиренью.

— Сирень вышла-с. Если позволите, я вас освежу «Отрадой полей». Самый модный запах.

Он щедро поливает духами голову и рубаху старика, который жмурится от удовольствия и командует весело:

— За шиворот, за рубаху прыщи. Ко всеобщей сегодня иду, пускай все нюхают.

Наконец, он встает, достает из кармана штанов пухлый кошелек, долго копается в нем пальцами и протягивает две трехкопеечных:

— На, возьми, что ли. По настоящему не следовало-б с меня брать, ну да ладно уж, грабь. Кормись на здоровье...

— Покорнейше благодарим вас, Филип Филипыч, низко кланяется Константин.

— Погоди кланяться!.. Сдачи копейку давай, потом и благодари. Довольно и пяточка с тебя.

А воробья вышвырни,—нечистота в доме заводится от него. Этого я не могу дозволить. Кабы за помещение платил, а то третий месяц тянешь и вдруг воробей еще.

Одевшись, старик направляется к выходу, но в это время дверь отворяется и с улицы входит новый посетитель, франтоватый чиновник.

— Илья Герасимович,—радостно бросается к нему Константин.—Просим милости. Побриться желаете?

— И побриться, и подстричься.

Старик медлит у порога. Внимательно обглядев новенькую тужурку чиновника, он манит пальцем Константина и шепчет ему на ухо:

— Ты того... пяточек мой назад давай. Заработаешь теперь с легкой руки...

— Что-с?—не понимает Константин.

— Пятачек, говорю, назад давай. Я тебе счастье принес.

— Как назад?—теряется Константин.—Вы мне за работу дали, Филип Филипыч.

— Не прикидывайся. За помешенье не платишь а я тебе обязан? Отдай пять копеек, не доводи до греха.

— Что-ж, я с удовольствием,—смущенно лепечет сконфуженный парикмахер.—Извольте-с.

— Ну, то-то.

Старик прячет деньги в кошелек и уходит.

К своим приехал.

Последний звонок.

—Поехали!—радно улыбается солдат с костылями, смотря в окно.

Прильнув к стеклу, он жадно глядит на бегущие вправо огни станции, будку стрелочника, товарные вагоны, и кланяется им. Но вот мигнул зеленый глаз семафора, остался тоже позади и потянулись снежные поля, кусты, темные перелески. Солдат делает последний поклон и, тихо улыбаясь в жидкие усы, отходит от окна. Стоять на больных ногах трудно, но сидеть негде. Верхние места заняли два господина в зеленых брюках.

Внизу на одной лавочке в ростяжку лежит белобородый старик, который охает при каждом толчке вагона; напротив сидят румяный дьякон с румяной дьяконицей, их сын и дочь. Солдат долго и нерешительно смотрит на старика и осторожно, боком, садится у него в ногах.

—Под лавку костыли спрячь, советует дьякон.

—Там корзина с яйцами, не разбил бы,—пугается его супруга.

—Ничего, мы так простоим,—успокаивает ее солдат.—Костыль нам не помеха.

—С позиций?—спрашивает дьякон, доставая толстую папиросу.

—Из лазарету: на излеченьи там были.

—Ранен?

—Точно так, побило малость.

—В ноги ранило?

—И в ноги попало, а главное вот сюда угодило, —показывает солдат на бок.—Ребра покрошило. Пошел это я к речке за водой, а меня ихватило. Да ничего, Бог милостив, поправился вот. Домой еду...

Солдат мечтательно смотрит тоскливыми глазами за окно и тихо говорит:

—Как приеду, прямо на печку греться. Знобит меня очень, ваше преподобие. По теплу скучать начал. на солнышко бы хорошо...

—Знобит тебя?—поднимает старик голову.

—Ужаси, как знобит,— поворачивается солдат к нему.—Словно я во льду сижу.

—Меня тоже знобит,—говорит старик.—День и ночь, день и ночь. Намедни целый день не ел через это. Апетита нет, с'ешь грибок—рыжечек, пощиплешь рыбки и сыт... В лавке, парень, я простудился. Лавка у меня каменная, сырая, вот и зачах.

—Чем торговать изволите?—ласково спрашивает дьякон.

—Бакалеей, любезный... Торговому человеку питание хорошее нужно, а я сегодня не обедавши. Что ты будешь делать?

— Степа, дай пирожок,—обращается дьяконица к мужу, чувствуя приступ голода от разговора про еду.

Дьякон извлекает из под скамьи рыжий чемодан.

—И я, пожалуй, пирожок съем,—басит он.—Маня, Гриша, хотите пирожка?

Ребята изъявляют согласие и через минуту все четверо уписывают за обе щеки. Солдат деликатно глядит в сторону.

—Колбаски зря не купили,—сожалеет дьякон.
—Нешто и мне закусить?—вслух собирает старик.—На людях, говорят больше аппетита. Закушу!
—Правильно,—одобряет дьякон.

Кряхтя и охая, старик достает аршинную булку, такую же румяную, как щеки дьякона и впивается в нее зубами, держа в другой руке длинную колбасу.

—Вишь ты,—удивляется он, сочно чавкая.—Как хорошо на людях пища идет! Всегда бы так-то...

—Домой, значит?—обращается дьякон к притихшему солдату, доставая из чемодана еще пирог.

—Точно так, домой,—отвечает солдат, судорожно глотая слюни.

—Жена рада будет.

—В больнице она,—глухо говорит солдат, и в глазах его снова видна тоска.

—Что с ней?—участливо спрашивается дьяконица.

—Разум помутился маленько, к голове темная вода приступила. С горя это, матушка. Мне так и прописывали, что с горя. Проводила меня на войну и затосковала. По мне, значит, скучала. Мы с ней хорошо жили, согласно.

—У меня внучка тоже рассудком помутилась,—тяжко вздыхает старик.—Из окна на улицу вывалилась. Да ничего, отошла после, только заикаться стала.

—Скаж-жите, пожалуйста,—соболезнующее качает головой дьякон, принимаясь за третий пирог.

—Как же ты один будешь?—допрашивает дьяконица солдата.—Без хозяйки плохо.

—А как-нибудь,—расстерено улыбается солдат.—Проживу, Бог даст. Ребятишек у меня нет теперь, добрые люди в приют устроили. Одному не много надо. Скучно будет без Агафьи, это верно, да стерплюсь помаленьку. Что поделаешь...

—На другой женишься,—успокаивает старик.—Я вот трех жен схоронил и ничего... не скуचाю.

—Сколько горя с этой войной,—грустно вздыхает дьякон, закрывая чемодан.—Прямо беда. Ну,

возьмем для примера говядину. Прежде за фунт двадцать копеек платили, а теперь—пожалуйста двадцать одна копейка. Или спички возьмем, табак...

—А мыло, а свечи, а сахар,—подхватывает дьяконица.—На все торговцы набавили.

—Без барыша и нам нельзя,—сухо говорит старик, пряча остатки трапезы.—Немец виноват в этом, а не торговцы.

—Верно, много напакостил он отечеству нашему,—соглашается дьякон.—В нашем храме, например, был тенор Гурычев. Певчий... Первый голос на всю губернию. Бывало „Разбойника благоразумного“ пел—слеза прошибет. Из столицы приехали слушать его. И вот теперь, пишет, потерял свое богатство. В окопе голос застудил.

На минуту все умолкают.

—Отдохнуть что ли?—вслух соображает старик.—Под ложечкой засосало опять. Ты посидишь?—говорит он солдату.

—Посижу,—отвечает тот.

—Ну, так я лягу, а ты посмотри, чтобы вещи мои не пропали.

Он вытягивается на лавке, отвернувшись к стене, моментально засыпает. Дьякон усиленно зевает: его тоже клонит ко сну. Жена дремлет, прислонившись головой к его мягкому плечу. Скоро весь вагон засыпает. Бодрствует только солдат. Он не мигая смотрит измученными глазами в темное окно и думает свою темную думу.

В глухом углу.

(Из путевых впечатлений)

Глухой городок. У вокзала стоит еще обжитый двор.
На нем трещит букашка, криком своим зовущая
полюшко.

IV. В глухом углу

На вокзале дежурная стоит еще обжитая.

«Знаюшая» Пржевальская от бордюра
до бордюра в 4-й — 1-й Пржевальской, захватывая
каждый уголок площади по всей стро-
гому плану. Пржевальская, Станция,
улицы, входы и выходы красны.

Еще обжитая на вокзале дежурная.

«Для бордюра» в прокат для приручения
для армян румынством и наблюдением.

Станция вокзал. Станция Станция в улицах, веревки
улицы, на площадях. Вокзал вокзалы, вокзал вокзалы.

И как еще высветит линия прожектора, так и
линия.

В глухом углу.

(Из путевых впечатлений).

Глухой городок. У вокзала столб для об'явлений
На нем трепещет бумажка, прикованная дюймовым
гвоздем.

«Пропатшею свинию рыжево колеру в
репьях нашетшему вознаграждение адрьсу
свой сопственный дом гражданина Пища-
лина».

На соседнем телефонном столбе еще об'явление.

«Внимание! Предостерегаю от борова
вес. пуд. 4, фун. 13. Покупку, заолку-
продажу, товарообмен взыщу по всей стро,
гости новых законов. Приметы. Степка,
черный, пятак в синей краске».

Еще об'явление на покосившемся заборе.

«Даю борова в прокат для припущени-
под личным руководством и наблюдением-

Свиное царство. Свиньи стаями в улицах, перея
улках, на площадях. Роят тротуары, пашут мосто-
вые.

И козы еще веселят сердца прохожих тягучим
плачем.

Кроме скотоводства жители заняты торговлей. Ветер нэпа распахнул настеж двери — окна заколоченных лавчонок. За прилавками городская, степенная, краснолицая демократия, звякает гирьками, подгоняя пальцем чашку, на которой лежит товар. Плюнуть некуда — столько лавочек, балаганчиков.

— Торгуете хорошо?

— Кормимся помаленьку.

По правилу: копейка рубль бережет, капля долбит камень, терпение и труд все перетрут. Дух умеренности, степенности, рачительности витает в лавочках. По соседству холодно блестит стеклами витрин древняя кооперация. На двери ласковый плакат: «Кооперация — верный путь к богатству людей». Толкаем дверь. За стеклом появляется свирепая физиономия.

— Куда прешь? Заперто!

— Когда отопрется?

— Когда понадобится, тогда и отопрем.

Очевидно, не в духе, по случаю дождя. Плохая погода портит и хороших людей.

— Куда теперь?

— На базар.

Город утонул в лужах. Ветер злой, как кооператор. Длинная лента мужицких телег. Дьявол злобы и здесь метет своим хвостом.

— Чхорт! — Вовпит дядя в тулупе.

— Сам щорт! — отвечает дядя в армяке.

— Кобыла!

— Сам кобыла!

Тулуп вооружается кнутом. Армяк берет в руки суковатую палку.

— Вот стегну в бельмы!

— Я те двину в буркалы!

Ругаются зря, от скуки, от нечего делать. Приехали с продналогом минувшей ночью и как встали под дождем, так и ждут до сегодня своей очереди.

Укрыться только под телегу. Ни чайной, ни постоянного двора по близости. Задержка внезапно неприятная. Зерно сорное, каждого заставляют просеивать.

— Кабы знаго ведано, дома сеяли бы.

— Да, попутал грех.

Приемщики насобачились, мужики ошарашены, что не удалось обмануть. Угрюмо смотрят по сторонам, либо бранятся меж собой. И еще: от нечего делать едят. На ладони крупная соль, в другой руке аршинный пирог. Макает пирогом, жует и сосредоточенно погружился в неведомые думы. Съел аршин пирога с картошкой, подумал, подумал и вынимает из сена другой пирог.

Меж телегами юлит городская личность.

— Друх, а друх!

— Ну?—Лениво поворачивает мужик тяжелую голову.

— Озяб?

— А тебе, что?

— Погреться не желаешь?

Личность показывает из-под полы горлышко бутылки, при виде которой словно молния стрельнула в мужика. Легкой птицей он спрыгнул с воза.

— Сколько просишь?

— Тсс, поди сюда.

Личность уводит мужика к забору. Через минуту мужик бегом к телеге, мешок на плечо и в соседний двор. Скоро он появляется с изрядно похуdevшим мешком, но довольный, бодрый, шумный, море по колено.

Личность тащит к забору еще дядю.

— Все равно лишку взял, на случай,—утешает себя вслух первый мужик.—Тридцать фунтов куда ни шло, тьфу, где наша не пропадала..

Кроме свиней, в городе распространены танцы. Афиши разных цветов приглашают посмотреть водевиль «У чорта на рогах»,—комедию «Прелестник

в юбке»,—прóслушать любительский хор. Неизменная приписка: «по окончании танцы до 4 час. утра».

Анонс: в Советском театре автомобиль с пассажирами проедет по груди известного силача Ивана Борща, который потом станет рвать руками и зубами железные цепи, вязать кочергу в узел. В заключение номер, который удивил самого китайского императора: на голове силача молотом разобьют 3-х пудовый камень. «По окончании танцы до 4 часов утра».

Впрочем, не только водевили, комедии, да силачи. Вот об'явление о лекции на тему «Как устроить хорошее домашнее хозяйство». А «по окончании танцы до 4 часов утра».

Оно понятно,—это увлечение танцами. Город тонет в лужах, ноги вязнут в грязи, мозги стынут в осенней слякоти. По улицам движутся люди вроде вон того озабоченного юноши, который шлепает новыми калошами по лужам и спрашивает всех и каждого:

— Товарищи, не встречали огненной свиньи?

— Такой не видали.

— Ах, куда-ж она?!

Блям-м...

Звонят к вечерне. Подобрал полы длинной рясы, как баба подол, через лужи сигает длинный мужчина в черной шляпе.

— Отец Митрий!—окрикает тетка, высунув из калитки озябшее лицо.

— Ась?

— Подь-ка сюда.

Два—три прыжка, мужчина у калитки.

— Благослови...

Широкий крест в воздухе.

— На-кось пирожка пшенисного. Отелилась Фимка то. Как почитали молитву, так и пошло в дело.

- Бычек или телка?
- Телка.
- Приятно. Поздравляю вас, Анна Фоминишна.
- Вам спасибо, отец Митрий. Пожалуйста чай кушать после вечерен.
- С удовольствием. Пока до свидания. Желаю Фимке здоровья...
- Вашими молитвами...
- Ничего не стоит. Наше дело такое ..

Ночь.

«Тишина немая
«В улицах пустых
«И не слышно лая
«Псов сторожевых».

Каменный, двухэтажный. Над крыльцом фонарь, освещает вывеску: «Ресторан Коммерсант». Сквозь зимние рамы долетает визгливый голос:

...Кра-а-сивый танец,
Он оч-чень жгуч-чай
Привез его испанец...

— На-яр-рив-вай!—грохочет пьяная команда.

Оказия.

Ох, как много дела у отца Исая в первый день Пасхи! Заутреня, ранняя обедня, поздняя, по приходу надо итти. А в час дня обязательно спевка в Нардоме, где отец Исай исправляет культурно-просветительную должность руководителя хоровой секции, которая в праздники поет на правом клиросе. Сегодня вечером в Нардоме музыкально-вокально-танцевальное собрание, и отец Исай обязан проверить секцию, чтобы не упрекнули в саботаже. А в пять часов надо все-нощную служить. Разорвись, поспей!

Светлую заутреню отбарабанили. Откатили живым манером раннюю обедню. Сбегали домой почайпить и в шесть ударили к поздней. Отец Исай торопил дьякона, покрикивал на дьячка, торопил левый клирос, а когда на правом без его ведома загорланили нотное, не сдержался, плюнул и в сердцах погрозил из алтаря кулаком.

— Время нашли, олухи! Пой простое!

Правый клирос начал так отхватывать, словно певчие под дождь попали.

Отец Исай думал, что управится с обедней не раньше восьми утра, а кончил получасом скорее и повеселел.

«Скажу слово», решил он, распорядился вынести аналой, вышел на амвон, раскрыл рот, но—вспомнив,

что еще надо куличи святить, приказал убрать аналой. Некогда растабарывать.

Когда прикладывались к кресту, осенила блестящая мысль — проверить секцию сейчас же после обедни, в сторожке.

После обедни отец Исай держит торопливую речь к правому клиросу:

— Вот что, ребята. Днем мне недосуг. По приходу надо, то да се. Давайте сейчас... Полчасика. Говорят, из города в Нардом приедут. Значит, не посраим костей. Ну-ка господи благослови! Репетнем Интернационал. Смирно, по местам. То-ти-то-том... разом!

«Вставай, проклятем заклеянный»...

Секция вымуштрована. Зажмурясь от удовольствия, отец Исай плавно дирижирует камертоном и тенорком тянет:

«Лишь мы, работники всемирной

«И славной армии труда!».

— Хорошо, отлично, ребята. Ну-с, теперь что в программе?

После спевки, передавая камертон официальному регенту хоровой секции, секретарю волисполкома — рябому юноше с зеленым бантом на тощей шее, отец Исай строго наставляет.

— Не ударь лицом в грязь, Павлуша. Ежели собьются, басами подпирай. Басы все покроют. Слышите басы?

Отец Исай ликует перед образами в доме барышника Нетошакова.

«И мертвые воздвигнувший, людие веселитесь»...

Он с причтом уже побывал во многих домах, пять раз уже выпивал и закусывал. Настроение отличное. В голове никаких забот, на сердце радуга, в кармане топорщатся дензнаки, невольная улыбка раздвигает губы,

— «Святися, святися», — басит икая дьякон.

— «Новый Иерусалиме», подхватывает дьячек коснеющим языком.

— «Слава бо господня!» — весело восклицает отец Исай.

«Кабы каждый день Пасха», думает он, смотря в окно на пеструю, нарядную улицу села, и украдкой косится на стол в углу горницы. На столе четыре графина, бутылки с пивом, копчушки, колбасы, грибы, свинина, кулич...

«Прекрасная гавань, покрепче здесь причалим», — решает отец Исай.

К вечеру причт в полном составе стоит посреди улицы и совещается.

На вспухшем лице отца Исая изображена горечь и глубокомысленное недоумение. Правая ладонь запущена в бороду. Дьячок держится за подол рясы отца Исая. Вместо шляпы на его голове заячья шапка с длинными наушниками. Дьякон сдвигает и раздвигает лохматые брови, что-то соображая.

— По моему, у Анкудиныча оставили, — мычит дьячок, качаясь от ветра.

— А по моему, в школе, — возражает дьякон. — Где мы лезгинку плясали? В школе?

— В школе, — соглашается дьячок.

— Нет, братцы, в школе мы казачка плясали, — с грустным вздохом поправляет отец Исай. — А лезгинку в волисполкоме.

— Ну, коли так, значит — в волисполкоме и оставили, — решает дьякон. — Я отлично помню, как вы меня крестом заместо кинжала кололи, а я крест отнял и куда-то сунул. А куда — зарежь, не знаю.

— Вот и врешь, — возражает дьячок. В волисполкоме я один плясал камаринского. А все прочие губами дудели,

— Верно,—подтверждает отец Исай.

— Конечно, верно,—воскликает дьячок. — Еще вы тогда плакали и удавиться обещали, что с народскими петь «Интернационал» приходится.

— Не ври, Евлампий, — протестует дьякон. У кожевника отец Исай хотел удавиться. Помнишь, желтые вожжи он из саней взял, а мы вожжи отняли и вожжами стали его пороть.

— Будет вам с вожжами,—поморщился отец Исай.—Я дело спрашиваю, а не про вожжи. Где лезгинку плясали?

— Не помню, — задумчиво басит дьякон, сдвигая брови.

— Теперь и я сбился,—мычит дьячок.

— И я не помню, — сознается отец Исай. Вот оказия. Давайте, братцы, думать, авось...

Все трое начинают думать.

Приехали.

В кухню отца Евлампия ввалился дядя в рваном башлыке, огромных валенках и с кнутом.

— Батюшку бы повидать—сказал он попадье, щурясь от лампы.

— По какому делу?—спросила попадья.

— Грех случился,—вздыхнул дядя.—Сама больно плоха. Исповедаться бы.

— Далеко ехать?—спросила попадья.

— Верстов семь. Клещевские мы, матушка. Такой грех, не выговоришь,—опять вздохнул дядя. Бабу жалко.

Попадья тоже вздохнула.

— Вьюжит сильно,—сказала она. — Батюшка, боюсь промерзнет.

— А мы дерюжкой укроемся,—успокоил гость.

— Сейчас спрошу,—нерешительно произнесла попадья, уходя из кухни.

Мужик пальцами срывал сосульки с усов, кричал и слушал беспокойно, как шептались в соседней комнате. По красному обмороженному носу скатилась скупая мужицкая слезинка и спряталась в бороде.

— Э-э-эх-хма,—сноза вздохнул, покачал головой и чмокнул губами.—Неужто помрешь, Анна?

В кухню вошел отец Евлампий.

— На воле выюжит? — спросил он, выслушав мужика.

— Сущая малость... мы дерюжкой...

— Лучше бы ты бабу сюда доставил,—сказал отец Евлампий.

— Батюшка, боюсь замерзнет она дорогой. Со всем плоха.

— А я, по-твоему, не замерзну?

— Батюшка, мы дерюжкой, а ноги сеном закутаем.

— Ну, ладно,—согласился отец Евлампий.—За два пуда поеду.

— Нельзя скинуть? — осторожно заметил мужик.—Недостатки у меня на счет хлеба.

— Нельзя, у меня тоже недостатки, — отрезал отец Евлампий.

— Скинь пудик,—жалобно сказал мужик.

— Не поеду совсем, станешь торговаться,—угрожающе заявил батюшка.

Мужик помолчал, подумал и решил:

— Авось, наскребу два пуда.

Отец Евлампий в бараньем тулупе, растопыря руки, стоял посреди кухни. Попадья обмотала его голову теплой шалью. Потом на батюшку натянули большом армяк, который подвязали кушаком. У ворота армяк обмотали шарфом.

— Береги батюшку, — напустилась попадья мужика.

Отца Евлампия вывели на улицу, усадили спиной к ветру в сани, обложили сеном, укрыли дерюгой. Зябко ежась, мужик сел сбоку, лицом на ветер, и дернул возжами. Выехали из села.

— В голову дует,—страдальческим голосом простонал отец Евлампий.—Пять пудов мало за такую езду.

— Тпр,—остановил лошадь мужик.

Вылез из саней, собрал остатки сена и окутал им голову спутника. Поехали дальше.

— Далеко твоя деревня?—окрикнул отец Евлампий возницу через минуту.

— Вон за теми лесками,—кнутом показал мужик в снежную муть.

— Озяб,—послышался стон из бараньего тупа.—Еду в такую погоду, и за два пуда. Бить меня надо.

— Скоро приедем,—успокоил мужик.

— А ты пошевеливай коня,—распорядился отец Евлампий.—Ох, мочи нет, в голову дует. Напрасно поехал я с тобой.

— Тпр,—остановил мужик лошадь.

Опять вылез из саней, поправил дерюжку, заботливо обмял сено около спины батюшки и спросил:

— Вот так не дует?

— Дует,—последовал суровый ответ.—Голова озябла. Дома сейчас я чай пил бы около лежанки, а тут вот мерзни. Вези что ли скорее! Чего время ведешь?

Мужик послушно вскочил в сани и нахлестал коня. В'ехали в темный лес, лошадь пошла шагком. В лесу было тихо, ветер остался позади в поле, но батюшка не унимался.

— Голову бы надо закутать побольше,—скрипел он, болезненно охая.—У меня голова больная, тепло любит. За два пуда такое мученье терпеть.

Да вези же скорее!..

— Тпр,—сказал мужик.

Вылез в снег, молча размотал свой башлык и начал закутывать им голову отца Евлампия.

— Вот так хорошо?—спросил он, крепко завязав концы башлыка.

— Левая нога озябла,—сообщил батюшка.

Мужик шумно вздохнул, покрутил головой, забрался в сани и вдруг яростно зарычал на лошадь:

— Н-но же, холера! Трогай. Аля и тебе в голову дует?

— В поясницу стреляет,—долетел до его ушей плачущий голос.—Скоро ли деревня? Едем, едем...

Мужик с ожесточением охаживал кнутом лошадиные бока, лошадь мчалась вскачь, лес кончился и ветер снова бросился на проезжих.

— Смерть моя,—застонал отец Евлампий—Кабы знать, десять пудов не взял бы. Всю голову разломило. Эй, нет ли еще какой одежины? В бока дует...

Мужик натянул возжи, подался корпусом назад и прохрипел:

— Трр-ры.

Сани остановимись среди поля. Мужик, храня молчанье, развязал концы башлыка на голове батюшки, стащил с него дерюгу и коротко бросил:

— Вылезай, отец!

— Приехали?—обрадовался отец Евлампий.

— Приехали!—буркнул мужик, под мышки выволок в сугроб спутника, торопливо обмотал свою голову башлыком, вскочил в сани, что есть мочи стегнул коня кнутом и пропал из глаз батюшки во тьме вьюжной ночи.

— Караул!—помчался вдогонку ему испуганный вопль.

Коленкоровый гроб.

1.

Директор фабрики, можно сказать, из своих людей: при старом праве в проборщиках работал.

А поди-ж вот! Ткач Гаврила Мамкин сробел, когда увидел «без доклада не входить».

Какие строгости. Конторщики на цыпочках, ячейщики смелый народ, а сначала голову в дверь, позволения спросят, и потом в кабинет.

Ну, что будет! Авось, не с'ест.

Гаврила Мамкин решительно через порог и прямо к зеленому столу, за которым директор Варежкин.

Кожаный пиджак. В кресле, нога на ногу.

В зубах папироска. А брови насуплены—верное дело сердитый. Не в раз. Переждать бы маленько.

— Что надо?

— До вас, Захар Захарыч.

— Ну?

— Просьбица...

— За деньгами?

Откуда узнал? Ай-да Варежкин, как насобачился.

— Точно так. Деньжонок бы... вперед...

Усмехнулся. Прищурился. Не даст!

— Зачем тебе деньги?

— Деньги то?

Крючья, не глаза у Варезкина. Насилу отцепился Гаврила Мамкин от Варезкиных крючьев, посмотрел в угол, в другой, увидел на стене Кодекс о труде, на другой стене Конституцию, на потолок взглянул, пересчитал окна и вздохнул:

— Такие дела подоспели.

— Какие дела?

Эх, привязался. По ниточке выдержает.

— Большие дела. Захар Захарыч. Несчастье...

— Помер ктонибудь?

— Так точно. Помер.

— Кто?

— Баба померла, царство ей небесное. Жена, то есть...

— Сколько надо?

Даст! Вот это директор.

— Рубликов двадцать, Захар Захарыч.

— Хватит?

— Достаточно—повеселел Мамкин.—Мне только гроб огоревать бабе. Кабы не гроб, куда мне столько. Без гроба нельзя, а ноне вон корыто получше за пятерку не купишь. Прямо беда, Захар Захарыч.

Вышло дело. Варезкин карандаш в руку.

— Фамилия?..

— Мамкин, Гаврил Леонтьич. Мамкин...

— Ты, Мамкин, гроба не покупай. Я механику скажу, чтобы в столярной сделали. Коленкором велю обить. Когда гроб нужен?

— Гроб-ат?

Гаврила Мамкин глаза к потолку, пошевелил губами, почесал в затылке, вздохнул шумно и тяжело...

— Ну, не горюй, Мамкин,—успокоил директор,—другую бабу заведешь. Приходи завтра за гробом. Сделаем. Денег тоже выпишу. Гроб бесплатно. Понимаешь?

— Понимаю, — тоскливо прошептал Гаврила Мамкин.

Директор и лошадь дал, чтобы гроб отвезти.

— Куда надобно?—спросил возчик, когда телега с гробом выехала из фабричных ворот.

— Поезжай прямо,—махнул рукой Гаврила Мамкин, мрачный, озабоченный.

Телега загремела по камням, гроб подпрыгивал в телеге, прохожие сочувственно смотрели на гроб, на Гаврилу. Убитый горем Мамкин сидел, понуря голову. Проехали улицу, повернули в другую, поднялись в гору.

— Теперь куда?—спросил возчик на перекрестке.

Гаврила поднял голову, устало посмотрел кругом и распорядился слабым голосом:

— Вези!

— В которую сторону?

— Вези прямо.

Возчик взглянул на Гаврилу, сочувственно покачал головой и дружелюбно сказал:

— Шибко горюешь, брат?

— Чего?—спросил Гаврила.

— Горюешь, говорю?

— Да горюю.

— Конечно, жалко... У тебя кто помер?

— Чего?

— Кто помер, спрашиваю?

— Да, помер,—рассеянно ответил Гаврила, погруженный в невеселые мысли.

— А кто помер?

— Чего?

— Помер то кто?

— У кого?

— У тебя...

— Баба.

— Вишь, какой грех. Мужик ты молодой, а вдовый, значит? Плохо! Ребятенки, поди, остались... теперь куда ехать?

— Стой!

Мамкин поспешно выскочил из телеги, обмотал гроб веревкой, взвалил на плечи, пошел прочь.

— Я донесу, а то канава там... Не проедем на лошади...

Вероятно, гроб был очень тяжелый. Шагов через сто Мамкин привалил ношу к забору и сел отдыхать на лавочке.

3.

Старший милиционер Пузыриков, только что навестил самогонных дел мастера Растатуева и по этой причине в самом прекрасном настроении шел по вверенным ему улицам, любовался природой, на-свистывал, напевал, блеснул ярко начищенными сапогами и, может, пустился бы в пляс, как вдруг.

Милиционера Пузырикова словно кипятком ошпарило. Он вздрогнул. Его внимание приковала подозрительная личность, которая, пугливо озираясь по сторонам, тащила на спине новый, обитый коленкором гроб. Умудренный обширным опытом, милиционер Пузыриков почуял дичь. Глаза зажглись вдохновением и приликая к стенам домов и заборам, он начал следить за подозрительной личностью.

Ясное дело, человек с гробом замышлял неладное.

Вот он втащил гроб в соседний двор, быстро вышел на улицу и без гроба проворно пошел прочь. Но из ворот тот час выскочила рослая баба, что то закричала и сердито замахала руками. Злоумышленник вернулся, вошел во двор и появился на улице опять с гробом на спине. Баба долго стояла в воротах и качала головой, смотря ему вслед. Злоумышленник оглянулся на бабу и повернул в переулок.

Через короткое время он опять вынырнул из переулочка, держа гроб в руках. Посмотрел направо, налево, снова скрылся в переулок и быстро вышел оттуда, но уже опять без гроба.

Что за причта?

Пузыриков сделал самую равнодушную физиономию и прошел мимо, глядя в другую сторону, но украдкой кося глаза в сторону незнакомца. Увидя милиционера, тот спрятал голову в плечи, быстро юркнул в переулок и через минуту появился с гробом.

Что такое?

Пузыриков как бы невзначай вошел в растворенную калитку, проворно снял шапку и осторожно выглянул на улицу. Незнакомец исчез. Пузыриков вытянул шею и вдруг увидел кудрявую голову, которая наблюдала за ним из соседней калитки. Глаза встретились и Пузыриков понял, что попал впросак. Тогда он решил кончить игру. Надел шапку, вышел со двора и увидел незнакомца, который шел навстречу попрежнему с гробом. На лице незнакомца изображался такой ужас, словно на спине его была бомба, которая вот-вот взорвется.

Пузыриков пошел за ним. Незнакомец оглянулся и прибавил шагу. Пузыриков тоже прибавил шагу. Незнакомец еще. И Пузыриков еще. Незнакомец, видимо, утомился. Он пыхтел, сопел, охал, словно запаленая лошадь, но быстро, торопливо шел вперед. Пузыриков не отставал. Незнакомец свернул в переулок. Пузыриков за ним... Тогда незнакомец бросил гроб на землю и что есть мочи бросился бежать.

Пузыриков понял, что пора действовать.

Выхватил из кобуры Наган, зажмурился, нажал собачку, громовой выстрел и окрестности огласились повелительным:

— Стой! Лови! Держи!

А через какой-нибудь час милиционер Пузыриков замыкал новое шествие. Впереди милиционер Гвоздилин, за ним измученный, бледный, потный человек с гробом на спине. Пузыриков, недоумевающе пожимая плечами и ежеминутно почесывая в затылке, слушал арестованного, который говорил Пузырикову:

— Дозвольте, товарищи... Я же показывал бумажку, в ней все прописано. Отпустили бы вы меня,

право. А? В бумажке ведь все прописано, откуда гроб этот самый...

— А бежать для чего было?—соображал вслух Пузыриков.

— Да как-же не бежать, ежели я с детства напуган? Эта самая оружия для меня хуже смерти. Лопни глаза—не вру.

— А зачем гроб во дворе оставил?

— Да говорю же, за саночками хотел домой сбегать. Упарился я с гробом. Почесть, целый день на себе таскаю. А в ем, окаянном поди, больше пуда. Все плечи стер, лопни глаза. Пустили бы вы меня...

— Иди, иди. Врешь ты, по моему. Путаешь что то...

— А вот и не вру, лопни глаза не вру...

— Ну, вот посмотрим.

4.

Тетка Наталья ухватом взяла щи из печи, понесла к столу и не донесла. Дверь избы отворилась, а тетка Наталья бросила горшок на пол: вошел милиционер Пузыриков, шевельнул усами: повел носом в воздухе и сурово спросил:

— Которая здесь есть усопшая?—

Тетка Наталья ахнула в испуге и схватилась за сердце: язык прилип к зубам.

— Которая здесь есть усопшая?—повторил властно Пузыриков.

С большим трудом тетка Наталья отклеила язык от зубов.

— Какая усопшая?—прошептала она, почувствовав мурашки на спине.

— Покойница!—сухо пояснил Пузыриков.

— Покойница?—переспросила тетка Наталья и почувствовала, что ее коленки подгибаются.—Какая покойница?

— Какая покойница?—передразнил Пузыриков.— Не видала сроду покойников? Покойница есть труп! Поняла!

Тетка Наталья молча вытаращила глаза на Пузырикова, который наконец—рассердился.

— Где труп усопшей покойницы?—отрывисто рявкнул он.

— Никаких трупов здесь нету,—прошелестела, бледнея, тетка Наталья.

Пузыриков с торжеством усмехнулся, решительно потряхнул головой и, круто повернувшись, хлопнул дверью со словами:

— Ну, теперь держись!

Удивленная тетка Наталья поспешила за ним и первое, что увидела из сеней, был обитый коленкором гроб, который стоял у сарайчика во дворе. Около гроба сидел на корточках Гаврила Мамкин, понурый, держась ладонями за голову. Около Гаврилы еще милиционер и толпа зрителей.

— Соврал!—громогласно объявил Пузыриков, прыгая с крылечка.—Не обнаружено усопших, время только зря провели. Айда, в милицию, Гвоздилин! Эй, ты! Бери гроб! Гвоздилин, присматривай строже!

— Гаврила, что ты наделал!—завопила в испуге тетка Наталья.

Мамкин проворно встал на ноги, развел руками и с жалкой, сконфуженной улыбкой забормотал:

— Ты, Наташа не сумлевайся, лопни глаза... Это все Варезкин. Лопни глаза, Варезкин виноват! Я говорю—дай две красных, Наташе кренделей куплю...ты думаешь, я опять в трактир хотел? Лопни глаза, кренделей хотел тебе купить. А Варезкин и говорит: на, Мамкин, гроб!..

— Не-р-разговаривать!—распорядился Пузыриков!—Бери гроб! Граждане, расступись!..

— Я говорю: а зачем мне гроб?—бормотал Мамкин, с трудом поднимая гроб.—Мне деньги нужны, Наташе башмаки купить, а он...

Мамкин, кряхтя, взвалил гроб на плечи и пошел со двора.

Ивановская Обл. Научн. Библ.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

I.

Недостаток механизма	5
Канцелярское	8
Мытилка	10
Жареные семечки	13
Из кулька в рогожку	15
Взятка	18
Миллиард	21
Кривая педагогия	23
Про почтовые марки	26
Комсомольское	28
Без названия	31
Пожарная машина	34
Без темы	40

II.

Сытое	45
Кормилец	48
Трезвое	51
Разговор с приятелем	54
На солнышке	57
Летуны	60
Происшествие с ребенком	62
«Людей нет»	66

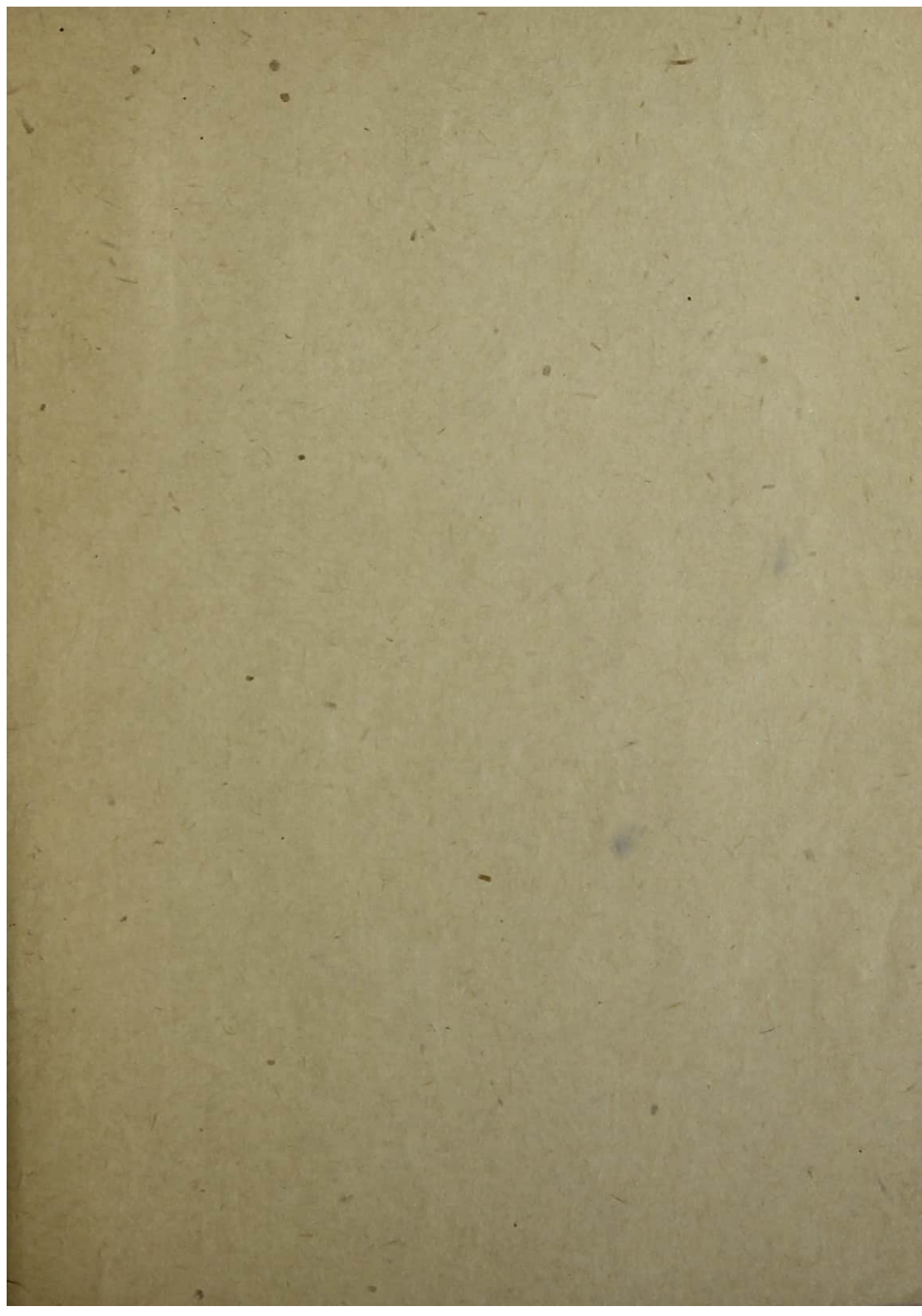
«Что новенького»	71
Нашествие иноплеменное	78
Трансформация	76
На празднике	78

III.

Святой ключ	89
Бархатный колокол	91
На военном положении	97
К своим приехал	101

IV.

В глухом углу	107
Оказия	112
Приехали	116
Коленкоровый гроб	120



Цена 80 коп.

